

**Ирина Сабурова**

# **Копилка времени**

**Ирина Сабурова**

# **Копилка времени**

Copyright by author

Irina Saburowa, München-Feldmoching, Grashofstr. 160 b

## О Г Л А В Л Е Н И Е

стр.

### I.

Тихая ночь . . . . .	7
Ласточка . . . . .	32
Письмо о березках . . . . .	55
Не обойтись . . . . .	61
Звонок по телефону . . . . .	69
Из-за фиалок . . . . .	72
Казачья невеста . . . . .	83
Тетушка-мельница . . . . .	96

### II.

Копилка времени . . . . .	115
Лесная почта . . . . .	131
Лоскутница . . . . .	136
Звездный гвоздик . . . . .	143
Глаза короля . . . . .	151



l.



## Тихая ночь...

*В 1818 году, 140 лет тому назад в Со-  
чельник, 24 декабря, в церкви австрий-  
ской деревушки Оберндорф была впер-  
вые исполнена рождественская песнь  
«Тихая ночь, святая ночь» — слова ви-  
кария Иозефа Мора на музыку учите-  
ля Франца Грубера.*

Может ли человек сдвинуть горы? Верю с горничное зерно — может быть. Но зачем их сдвигать? Они так и остались, как были: туманные силуэты, как опавшие тучи на горизонте, предгорные холмы, покрытые лесом, разбежались всюду, теснят, насакивают друг на друга, потом внезапно расходятся — чтобы пропустить дорогу, селенье, речку, — и распасться в полях.

Холмы мягки и податливы, — не то, что речка. Ах, эта Зальццах! И неширока, и неглубока, а куда ни петляет только, куда ни закидывается, вырвавшись с гор, и никогда нельзя знать, что она сделает дальше. Тут легла границей между Зальцбургским епископатом и Баварским королевством, там течет тихонечко — не видать среди полей, и вдруг обежала петлей и размыла берег. Да, не шутите с Зальццах! Когда, в конце восьмисотых годов она поднялась весной на семь метров выше ординара, то подмыла все селенье Оберндорф, затопив дома почти до крыши, и сдвинула церковь.

С тех пор церковь и стоит на другом берегу, куда ее перенесли бережно, по кирпичикам, и приладили тот же купол на



колокольно: на опрокинутой глубокой тарелке широкая низкая луковица, а над нею невысокой башенкой шпиг. В старой пивной многие говорили, что следовало бы собрать денег и выстроить церковь заново, пышнее и больше, и с позолотой везде, за то что она доставила такую славу местечку. Но новый викарий был против, и настоял чтобы все осталось попрежнему. Христос, говорил он, тоже родился на соломе. Только подновили алтарь и поставили новый орган.

А на месте, где она стояла раньше, выстроили часовенку, маленькая, круглая, с куполом и крылечком посередине, на самом холме. Вокруг растут благородные мохнатые ели — дар прихожан. Внутри — резной алтарь с Вифлеемской пещерой, и по бокам два узких окна с цветными стеклами. На них картина: вид старой церкви прямо и сбоку, а над картиной портреты: учитель Франц Грубер с гитарой, и викарий Иозеф Мор с гусиным пером, и над головой каждого Вифлеемская звезда с лучами. Так они и смотрят друг на друга, опираясь на елочные ветки с зажженными свечами: викарий смотрит вверх голов, с усмешкой прислушиваясь к чему то, а учитель, грустно склонив голову на бок, глядывается в то, что видно ему одному.

Служба совершается в часовне только раз в году: в Сочельник. Из многих стран приезжают сюда люди, и стоят не только в крохотной часовенке, а вокруг всего холма, на улицах, и поют. Она звучит на всех языках одинаково, эта песнь, и ее поют на Рождество во всем мире: «Тихая ночь. . святая ночь»..



В лето тысяча восемьсот восемнадцатое селеньице Оберндорф, милях в двадцати от Зальцбурга, на берегу Зальца, лежало в стороне от всего: до большой дороги был хороший день пути по проселочным. Центром округи был Зальцбург, у подножия епископского замка на высокой горе: оттуда приходили новости, привозили редкую почту и книги; оттуда доставлялись несложные товары в единственную лавочку на весь Оберндорф; туда везли, на больших телегах, гromыхавшие дубовые бочки с пивом.

Одним из самых старых домов в Оберндорфе была пивоварня, стоявшая уже лет триста: во двор ее, вымощенный крупными камнями, откуда чрез низкую дверь, можно было попасть в полутемную, с потолками в балках, пивную, постоянно въез-

жали и уезжали подводы. Во дворе всегда гремели бочки, засовы дверей, копыта лошадей, кувшины и кружки, деревянные башмаки парней и девок, и ключи на широком кожаном поясе хозяина, подпиравшем снизу его увесистый живот в растрепанном кожаном жилете.

Этот вечный шум, говорил викарий, живший неподалеку в церковном доме, заставляет его ценить тишину бедной церквушки, в которой нет даже приличного органа, не говоря уже о кафедре для проповедей. Но проповедь он может сказать и так, а разве это орган?

—Ваша милость гремит в проповеди не хуже органа,—пробовал отшучиваться учитель, исполнявший обязанности органиста.

Это было почти единственной шуткой, которую он позволял себе с викарием, ибо тот был такой великий насмешник, такой упаси Боже, вольтерьянец, что не даром говорили о нем разное. . . а он, учитель, часто приходил в ужас и старался замять разговор. Но относительно органа, — о, тут можно было самому вернуться словечко, ибо это было самым больным местом, самой страстной мечтой викария Иозефа Мора: иметь новый орган. Учитель нередко поражался, как может человек, не играющий сам ни на каком инструменте, так любить музыку? Викарий мог часами заставлять его играть на гитаре и духовные, и народные песни, и даже — совсем потихоньку, — менуэты; доставал ноты. Когда Груберу надоело играть, он неизменно брал несколько тактов революционной французской Марсельской песни: этого было достаточно, чтобы викарий, сперва как то дерзко взметнув голову в круглой бархатной шапочке, пощелкивал пальцами, — и вдруг срывался с места и уходил, не прощаясь.

Церковный дом стоял против старого, широкого дома крестьянина Штирмайера: у него была низко надвинутая, как чепчик монахини, черепичная крыша, придавленная камнями от ветра. Учитель подолгу простаивал у окна, смотря на дорогу, и посасывал длинный чубук замысловатой трубки с голубыми кисточками, хотя она часто бывала уже выкурена.

Нет, почтенный викарий был определенно странен. Умный человек, бесспорно. Энциклопедического ума. Ему бы епископом быть, или кардиналом, а не сидеть в Оберндорфе. Но с епископским двором в Зальцбурге у Иозефа Мора тоже не все обстояло благополучно, это известно, хотя никто толком не знал, в чем

дело. Викарий был остер на язык и вольнодумец. Может быть, поэтому не пришлось ко двору? А в проповедях он действительно гремел, как орган, чтобы грешники одумались.

Его побаивались, уважали, и, как ни странно — любили все: хозяева и пивовары, дети и звери в особенности. Любили, не понимая, установил учитель, ибо понимать викария мог фактически только он, почти равный ему, и уж во всяком случае критически относившийся к тому, что тот говорил, а то ведь остальные не понимали и половины.

Но и хорошо, что так: учитель иногда только качал головою, когда викарий, вместо обычных громов против грешников, опять заносился в сторону, и совсем как будто не по тексту начинал философствовать. Если бы услышал его епископ — запер бы в первый попавшийся монастырь на покаяние! Даже богиню Разума в Париже, кощунственное это действие во время революции поминал викарий перед алтарем, и хоть поносил ее, но не так, как пристало бы служителю церкви. Будто бы и теперь все поклонялись ей, по насмешнически получалось это у него, и учителю порой казалось, что он издевается над своей паствой.

Нет, ни фигурой, ни лицом, ни голосом не походил он на викария: высокий, худой, белые волосы из под черной шапочки, а брови черные, поднятые кверху упрямыми, заносчивыми, жирными запятыми; крутые брови, с глубокими складками вокруг насмешливого рта. Глаза тоже черные, живые, предрозостные, и манера эта смотреть чуть поверх собеседника, а с первого взгляда лицо как череп будто, зубы скалит сквозь сжатые губы. Ему бы полком командовать!

Говорят ведь, что будто вроде того и было. . . здесь, в селеньи, только многозначительно пожимают плечами: будто бы викарий и впрямь жил в Париже, даже участие в этой проклятой революции принимал в молодости, духовником знатных особ был, в литературные салоны вхож, и зато, когда случились с ним разные несчастья из-за его заносчивости и бунтарства, то не заточили в монастырь, а посадили в Оберндорфе, где уж действительно некого было ему совращать: в головы здешних пивоваров даже сама богиня Разума, если бы и была такая, ни одной мысли заронить не сможет, нет. Так придавят ее камнем, как крышу.

Но спросить не решался. Да и не задают вопросов в такой век. Слишком смутное, тревожное время. Повсюду брожение,

вспышки тут и там; после такого разгрома, революций, войн, которые были пережиты всеми странами, после гениального корсиканца — сколь взбаламучена вся жизнь, вся душа до дна!

Учитель Франц Грубер тоже не всегда жил в тихом Оберндорфе и учил детей считать яблоки и царапать грифелем на доске. О, нет. В молодости — а ему сейчас за тридцать — он сам был увлечен гениальным корсиканцем, да, и в глубине своей души все еще слышит этот победный клич: «Vive l'empereur!» Да здравствует император! Ему, австрийцу, казалось бы, и не очень пристало . . . но, он был молодым тогда, и мечтал: нет, не надо, совсем не надо о мечтах. Вон, в доме Штирмайера уже блеснуло окно: кнехтам собирают вечерять.

Темнеет. Лизель уже гремит горшками на кухне рядом. Это очень маленькая кухонька рядом с комнатой, которую они занимают в церковном доме, и в ней так мало медной посуды, о которой мечтает Лизель. Деревенскому школьному учителю приходится жить в обрез, а Лизель все таки справляется с хозяйством, тихо и незаметно. Она выросла пятым ребенком в семье церковного служителя и не знает, что может быть другая жизнь, кроме расчета каждого гроша, но довольна ею. Если бы у них был еще ребенок, то наверно была бы счастлива.

Он тоже доволен, конечно. Тихая, скромная, любящая его Лизель . . . Пришлось стать обеими ногами на землю и отказаться от безумных мечтаний. Лучше так? Тяжелее — да. Но лучше, в конце концов . . .

Можно пока не зажигать свечи. Викарий, если придет вечером, как всегда, послушать музыку, принесет ему новую: он их льет сам, и отменно, а у него один огарок остался. Да, трудно жить.

Надо смириться. Только как? Сколько людей шаталось по свету, видели мир . . . разбрасывали их и революции, и войны, опять восстания, опять война . . . сколько теперь нельзя спрашивать: кем они были раньше, и почему вот так — в Оберндорфе? На чем они разбились? Ибо разбиваются если не все, то многие, это ясно. Ну, и что же? Безрассудство молодости, житейские бури . . .

—Заметьте, дорогой Грубер, — говорит викарий, подняв указательный палец с каким то неожиданно острым ногтем, — с безрассудством я совершенно согласен, но житейские бури это тавтология, повторение тож, ибо есть только второе, протекающее из первого. У господина фон Гете в «Фаусте» об

этом сказано совершенно ясно: дерзкий, жалкий ученик, вызывающий темные силы, с которыми не может совладать. Это гениальный образ. Господин фон Гете подлинный гений, титан, какие бывали в древности, и этот образ — неизмеримая высота. Я бы велел живописцам нарисовать его во всех церквях, этого наглого мальчишку, в назидание: имеющие очи, да видят! И ваш гениальный корсиканец был таким же. Чего стоит одна война с северным великаном! И пал. И падут многие. Но безрассудство владеет миром. *Vive l'empereur!* Вив богиня Разума! И да здравствует многое другое! А потом уже поздно. Опомнитесь, говорю я!

Нет, этот викарый... Нарисовать гетевскую сцену вызывания духов в церкви! !

— Впрочем, — добавляет викарый, — в нашем милом Оберндорфе достопочтенные господа пивовары приняли бы это просто за сцену Страшного суда . . . но разве они так бы ошиблись? Разве то, что вызывается человеком для своей гибели, не есть Страшный суд, хотя бы даже *en miniature*? А иногда и в больших размерах . . . если взять войну или революцию. Наполеона называют теперь «Божий бич», как когда то Атиллу. Неправда. Люди сами хлещут себя столькими бичами, что я право не знаю, зачем Господу Богу, у Которого и так много дела, заниматься еще нашим бичеванием. Мы это делаем сами отменным образом, *parole d'honneur*.

— А сами вы, ваша милость?

— Мечу громы и молнии со ступеней алтаря, хотите вы сказать и упрекнуть меня в нелогичности? Нет, милый Грубер, это вам не удастся. Вы не умеете мыслить парадоксально — величайшее свойство человеческого ума, ибо только так мы можем охватить нашим бедным разумом творящийся хаос . . . Да, я мечу громы, пользуясь своими голосовыми связками и саном. Но считаю это, заметьте, попыткой с негодными средствами пробиться в души. Впрочем, бывают разные души. Средства тоже. На одних может подействовать текст Священного Писания, которого они не понимают — именно поэтому. Для других надо другое. И есть, пожалуй, только одно, что годилось бы для всех. . .

— Что же? И почему вы не примените этого средства воздействия, ваша милость?

— Именно потому, что у меня этой милости нет, а она зовется: тишина.

— Тишина? !

— Ну да. Любовь, милосердие, свет, благодать — все это однородные вещи. Однородны, потому что во всех — тишина. Но не вещи, потому что вещественный мир осязаем, и может браться. Тишина только дается. Оттуда.

Он замолчал, смотря по обыкновению, поверх головы собеседника, и прибавил:

— Сыграйте чтонибудь простое. . .



Так они говорили всегда: внезапно касаясь чего-то, о чем думали оба, — и останавливались. Как будто шли по одной дороге, доходили до перекрестка, и взглядывали друг на друга: что же дальше?

Думали много. С каждой почтой в дом викария приходили книги. Он выписывал сочинения не только духовного характера, а и господина фон Гете, и мятежного идеалиста Шиллера, и многих других философов и поэтов. Грубер сразу приходил тогда к нему, и они просиживали вместе ночами.

Время было. Времени было много в Оберндорфе, оно шло неторопливо и медленно. Грубер иногда даже удивлялся: как он, после такой бурной молодости и всех своих мечтаний . . . да, вот может следить за тем, как встает солнце, освещает сперва старую яблоню, растущую у кладбища, потом заливает крышу Штирмайера . . . Или, в туманные утра ползет туман, наваливаясь с гор. Тогда и Зальцах не видно из окна, только слышно, как скрипит деревянный мост под тяжелой телегой:— в Зальцбург повезли пиво . . . Неторопливо идет день: но неправда, дни не похожи один на другой; мысли тоже разные, а что повторяются некоторые слова, и жесты, и звуки, так что же? Стрелка на циферблате тоже всегда касается одних и тех же цифр, а разве похож один час на другой в человеческой жизни?

Но все таки: зима, весна, лето, осень. И опять? Утренний колокол и вечерний, к Ангелус? Сперва трава зеленеет, потом становится пыльной, желтой, рыжей, забивается серой грязью, затвердевает подо льдом, засыпает под снегом. Что же тогда: конец, начало — и зачем это все? Главное: зачем же было дано сперва так много, чтобы потом — ничего? Хорошо еще, если трава идет на сено, или в букет: а если так просто, отцвела, высохла, затопталась в осеннюю лужу — зря?

—Кто знает, дорогой Грубер, для чего иногда призван человек, — говорит викарий. — Вспомните притчу о талантах, зарываемых в землю, но вспомните и о семенах, бросаемых на разную почву! Может быть даже и Сам Сеятель не уверен, как взойдет Его семя; и в самом деле, разве мы не видим каждый день вокруг нас в саду, в поле, как вдруг на голом пустыре расцветает вдруг прекрасный цветок, или могучее дерево, которое мы не видели раньше? Значит, надо было лежать семенам в тишине — опять таки в тишине, заметьте! — пока не пришел срок. Вы ищите этого ответа в философии. Напрасно.

—Но вы сами то, ваша милость?

—Я? Я, дорогой мой Франц Грубер, такой же осколок кораблекрушения, как и вы. Довольно, оставьте. У нас молчаливый уговор не касаться прошлого. Это вежливость минувшего века, и она скоро исчезнет. Люди становятся слишком грубыми, шумными и дерзкими. Они придумали равенство, и считают, что им все позволено. Но для вежливых людей понятно многое и без слов. Посмотрите на себя. У вас лоб мыслителя, ученого, музыканта. У вас глубоко сидящие и глубоко смотрящие глаза, поэтому они всегда как печальны. Несомненно, вы предавались в своей жизни самым романтическим мечтам. Но нос у вас, хотя и достаточно велик, однако, *пassez moi le mot*, сапогом, что, впрочем, доказывает только что ваши тредки больше держали в руках плуг или лопату, иглу, что угодно, но не шпагу. Мои — прекрасно владели и шпагой, и мечом, но мы не выбираем себе наших предков. Не знаю, кем вы могли бы стать: у вас слишком скупой рот. Такие люди не умеют брать от жизни, и скорее уходят в меланхолию, раз навсегда осудив жизнь и отвернувшись от нее. Но я был рожден повелевать. Командовать полком, как говорят многие, или благословлять толпу с высоких ступеней, или брать Бастилии — духа, заметьте. Во всяком случае, ни деревенский викарий, ни деревенский учитель не к лицу нам обоим. Но — кто знает? Заметьте: Тот, Кто знает — молчит. . .

Учитель Франц Грубер не только недурно играл на гитаре и органе, подчас даже трудные вещи, подпевая им небольшим, приятным голосом, но и собирал старинные народные песни во всей окрестности. В школе у него были заведены постоянные спевки детского хора. Недостача в псалмах и песнях не было,

но он часто подумывал, что недурно было бы самому тоже сочинить что нибудь.

Мысль приходила и уходила, как и множество остальных мыслей. Иногда, прогуливаясь по полям, Грубер останавливался, окидывая взглядом горизонт и тогда в нем снова поднималось странное ощущение: вот, везде, по краям этого горизонта, кипит, клокочет посленаполеоновский мир. Восстанавливаются и рушатся троны, пишутся великие произведения, вспыхивают восстания, делаются новые открытия, гремят споры, и во все это втянуты тысячи и тысячи людей. А они с викарием — пережившие многое и по разному, но как то связанные вместе, выкинуты вот сюда, в глушь, в мертвую зыбь центра бушующего на море урагана — из которого не выбирался еще ни один корабль.

Тихо здесь. Неповоротливо тянется время, как телега с пивными бочками. Круговорот года, захлестывающие волны образов и мыслей, поднимающиеся со дна души, со страниц книг . . . нет, не все семена всходят — в деревенской тишине.

Были еще досадные мысли, мелкие уколы каждодневной нищеты: и были мечты тоже.

С наступлением осени он стал больше думать о елке. Этот новый обычай зажигать елку, очень нравился ему. Елка в школе должна стать нарядной, сверкат. В прошлогодних Венских Ведомостях он читал, что на елки клеили звезды и золотили орехи, но в деревенской лавочке мишурного золота и фольги конечно нельзя достать, за этим надо самому отправиться в Зальцбург.

Он копил для Зальцбурга деньги уже давно, решив подарить викарию к Рождеству бронзовую чернильницу с мечом в память его предков. Но и на фольгу откладывались медные монетки. Двадцать миль расстояние небольшое. Если отправиться на телеге пивовара вместе со знакомым возницей на рассвете, то он успеет сделать все покупки в городе и вернуться домой, хотя бы пешком, к вечеру.

Но, если он уже несколько лет не решался поехать в Зальцбург? Может быть, он даже не узнает города за столько лет, настолько тот переменялся? А каким стал теперь Берхтесгаден — по ту стороны границы? Нет, нет, не надо. Есть вещи, о которых нельзя думать.

Осень в том году была ранней и очень холодной. Сколько раз уже с гор срывались снеговые бури и на несколько часов



устилали всю грязь на дорогах снежным покровом. Потом свистел ветер, хлестал дождь, деревья скрипели и гнулись, по крыше будто молотил кто-то, даже свеча вздрагивала и оплывала больше, чем всегда. И каким безнадежно серым, промокшим, продрогшим, унылым и безрадостным было все вокруг: и эта деревенская улица за окном, стены и заборы, лужи и грязь, и самый свет, скупо проникавший в окно!

Но ветер будоражил тоже. Шел же он в молодости наперекор ему!

Так, в мглистое, пробирающее до костей утро, завернувшись в плащ с пелериной и повязав шею грубым теплым шарфом, Грубер отправился все таки в Зальцбург, оповестив накануне детей, что школьных занятий не будет.

Лошади ступали медленно, шумно поводя боками, с трудом вытягивая копыта из хлюпающей жижи. Однако, возница, посмотрев на низко нависшие тучи, заметил в них что-то, ибо многозначительно покрутил головой и уверенно заметил:

— К вечеру все подморозит, а потом снега надо ждать. И надолго теперь он ляжет, снег то. Да и то пора: первый адвент идет . . .

Ветер гнал низкие тучи и прохватывал насквозь. Дорога тянулась невероятно долго. Грубер решил, что обратно он не поедет ни за что, и так заоченел весь: уж лучше пешком, по холмам он выберет попрямее дорогу. Он старался совсем не думать о том, как его примет город, и все время подбадривал себя.

Город принял неожиданно весело. Сколько огней! Во всех лавках горят огни: в такой темный осенний день торговцы не скупятся на свечи и светильники, щеголяют ими друг перед другом, и выставили уже повсюду рождественские товары к первому адвенту. Из бакалейного склада тянет корицей и мускатом — в Зальцбурге можно купить всякие вещи! Кое-где лежат уже маленькие черные хлебцы — фруктовый хлеб, который пекут к Рождеству, большие крендели и даже человечки из сушеных слив, низанных на палочки на потеху детям.

И Зальцах течет здесь чинно, у подножия старого собора, прилепившегося к громадной горе, на которой стоит епископский замок. Но епископ не выйдет в такую погоду, не заметит высокой фигуры в плаще, которая бродит по улицам, приценивается, покупает то и другое. Такого великолепия мишурной

фольги он не ожидал даже, елка будет сиять, как алтарь в рождественскую ночь, на сколько вечеров хватит ему занятия — вместе с Лизель клеить и золотить, и как обрадуются дети!

Чернильница тоже нашлась такая, как он хотел. Ее он купил сразу — опасался, что не хватит денег. Потом уже все остальное, а напоследок зашел в пивную, вспомнив, что проголодался; путь еще длинный. Съел поджаренных тут же на вертеле колбасок, выпил кружку пива, и, потуже завернувшись в плащ, вышел на дорогу, чуть кивая на прощанье остановившимся домикам предместья.

Они провожали недолго и остались позади, вместе с чайками на Зальцах. Началась дорога, и возница оказался прав: он и не заметил перемены ветра в кривых улочках. Ветер мгновенно сковал, подсушил грязь, прошелся по ней, как утюгом, гололедицей, и теперь весело гнал мелкие, частые снежинки, пудря насупившиеся ели.

Снег пошел.

Есть ли на свете что либо грациознее медленно кружащегося снега? Это особый, свой менуэт, не господина Гайдна... Как тот, на зеленоватых клавикордах, который он танцевал тогда, в Берхтесгадене.

Запретная мысль сразу охватила огнем — и странно: теперь она не была больше запретной. Нет, теперь было можно, и даже нужно вспомнить все. Вот именно сейчас, в темноте, на запорошенной снегом дороге, и скользить по льдистой колее, как по паркету, и склоняться в поклоне перед ветром. Он распаивает прошлое, этот ветер.

От Зальцбурга до Берхтесгадена столько же часов пути, как от Зальцбурга до Оберндорфа. Ветер так легко переходит границу, что не замечает ее совсем. Те же холмы, предгорья, горы, дороги, лес. Только Берхтесгаден лежит не у самой реки, а над ней, карабкается в гору, и замок посередине города. К нему ведет много улиц, в которых сады подперты каменными стенами, иначе деревья свалились бы на дорогу. Повсюду лестницы, ступени, стены из тяжелых больших камней выступают углами и полукружиями, низкими башнями со срезанными верхушками. Вот, на одной такой круглой угловой башне широкая шляпа, а по самой стене идет роспись светлой и темной охрой, и с голубым тоже: это почта князя Турн- и Таксиса, которую он устроил, пустив по всей стране, и в Италию и в Австрию, и в далекий Франкфурт и Гамбург тяжелые поч-

товые дилижансы с четвериком подкованных лошадей и своим почтовым гербом: два перекрещенных рожка. Почтальон трубит в рожок, въезжая в город: за угловой башней в стене широкие ворота, там каменный двор, конюшни, всегда перепрягают лошадей, из дилижанса выходят господа, дамы, и даже простой люд; на почтовом дворе всегда можно узнать разные новости, увидеть много интересного.

Так было и в тот день, в туманное, мягкое зимнее утро. Тучи сползали с гор, и снег еще не шел, а только отдельные хлопья летели, как будто раздумывая, — садиться им на деревья, или нет. Грубер шел в замок, где работал помощником библиотекаря у епископа. Это было очень хорошее место для молодого человека, но ему, уже потрепанному наполеоновскими войнами, Берхтесгаден казался тогда маленьким скучным городком.

Может быть, потому он так любил заглядывать на двор почты новые лица, вести со всех концов страны. Иногда какойнибудь важный путешественник с толпой слуг в ливреях, или прекрасная дама в парижском наряде.

Ее нельзя было еще назвать дамой — эту хрупкую тоненькую девушку в гладком дорожном костюме из зеленого бархата с чуть помятым капором, из под которого светилось прозрачной белизной грустное, усталое личико. И она сама помогла вылезти из дилижанса сперва грузному господину, опиравшемуся на трость, потом поблекшей даме в лиловом чепце.

Красавица? Нет, лучше: мечта! Таких ему еще не приходилось видеть. Он долго стоял и смотрел ей вслед, когда она исчезла за воротами ближайшей гостиницы — и потом навел справки: осторожно, чтобы не выдать себя, за кружкой пива можно было узнать многое по скудным отрывкам разговоров — а о самом главном догадаться самому. Да, это французские эмигранты, маркизы де ля Шантенель. Они не признавали выскочки-корсиканца (он охотно простил им это кощунство по отношению к императору — чего не простил бы никому другому). Пожилая маркиза, между прочим, австриячка по происхождению, и в каком то родстве с Зальцбургским епископом. Пока они будут, однако, жить здесь, в Берхтесгадене: видимо, прожились в изгнании, бедные родственники... да-да, революция выкинула много таких белоручек, которые без своих имений должны теперь сами штопать кружевные манжеты. Но, может быть, вывезет дочка?

Девочка хороша, и при любом дворе может выскочить за какогонибудь старого богача, который не посмотрит на бесприданницу...

Слушая такие разговоры среди простолюдинов, он сжимал кулаки, чтобы удержаться от резкого слова. Но они смотрели со своей точки зрения, из своей кухни, а он видел хоть мельком другой мир тоже, и его тянуло туда. Но попасть дальше передней замка он мог только благодаря счастью, удаче, — совершенному подвигу, может быть. А разве не говорил великий маленький капрал, что каждый солдат носит в своем ранце фельдмаршальский жезл? Разве не стал один из его маршалов шведским королем?

Слегка пожившись от холода в порядке прохладной библиотеке, в это же и многие другие утра он составил безумно дерзкий план: в лучшем, единственном парадном фраке, с фуляровым платком на шее, который он выменял когда то у мюратовского гусара — откуда у того мог очутиться такой дорогой фуляр, он не спрашивал, — Грубер явился в гостиницу к старому маркизу, оставив внизу в пивной порядке таки потрепанный плащ. Он держался скромно, как ему и полагалось, и намеренно мешал французские слова с немецкими, хотя по французски из-яснялся довольно свободно и не без изысканности стиля, — чтобы выразиться как можно туманнее. Туманным должен был оставаться впрочем только вопрос, кто именно прислал его к маркизу. Он старался прозрачно намекнуть на Зальцбургского епископа, но называл его «высоким покровителем».

Впрочем, ни господин маркиз, ни его супруга, тоже повидимому из вынужденной скромности и ради сохранения собственного достоинства, не спрашивали подробно о «высоком покровителе», а постарались сделать вид, что давно уже ожидали этого, и все в порядке вещей. Мари-Ивонн (ее звали Мари-Ивонн!) должна продолжать свое образование и в этой бедной глуши, конечно, куда их закинула трагическая судьба, ибо все скоро переменится, на французский трон взойдет законный монарх, и Мари-Ивонн должна будет занять подобающее ей место в свете...

Педагогическая деятельность никогда не была еще такой прекрасной. Пусть на лестнице бедной гостиницы пахло капустой и пивом из погреба; пусть в комнате с некрашеным полом бывало холодно и на дешевых свечах постоянно мешал нагар; пусть старая маркиза подробно рассказывала о своих недомоганиях и о том, как она блистала при дворе и на приемах в их

замке под Фонтенебло; пусть старик маркиз громил выскочку-корсиканца. Ничто, абсолютно ничто не могло нарушить очарования этих незабвенных часов!

Скромный Франц Грубер обнаружил неожиданно разные таланты: он писал мадригалы своей ученице по лучшим образцам, ловко вплетая в них то, что хотел бы сказать сам; читал с нею произведения новейших французских и немецких писателей, и немудрено, что у нее блестели глаза, когда он, становясь в позу, декламировал ей «Разбойников» или «Коварство и любовь», и что на них блестели слезы, когда они, сидя довольно близко друг к другу, упивались страданиями молодого Вертера...

Он старался проводить также «энциклопедические уроки», знакомя ее со всем, что знал сам, — и нужно признаться, что она была понятливой ученицей. Он даже нарисовал ей узоры для рукоделий — умолчав, что образец взят им из одного альбома в библиотеке. И он показывал ей новые па лансье и менуэта, и модного нового танца—вальса, который уговорил наконец сыграть маркизу, хотя та и протестовала против слишком современной музыки.

Однако же, для того, чтобы маркиза могла сыграть, нужен был инструмент. Мари-Ивонн каждый раз, вспоминая свой старый клавесин, вытирала слезы. Но как ни старался Грубер получить лишнюю работу по переписке, чтобы хватило денег еще на один букет цветов, еще на корзиночку деликатесов, которые он неизменно подносил старой маркизе, конечно, — денег не хватало ему даже на то, чем он питался в то время — кусок хлеба и кружку пива, не говоря уже о клавесине.

Но в библиотеке стояли клавикорды. Очень изящные, из зеленовато-серого дерева, с резьбой и бронзовыми украшениями. Они стояли в пыльном углу, заваленные книгами, для которых требовалось еще целое поколение библиотекарей, чтобы привести их в порядок, и — о чудо! клавикорды еще не попортили мыши. Грубер убедился в этом.

Остальное делалось дерзко, но с замирающим сердцем: он внес их в список книг, отправлявшихся к переплетчику «для починки» — рассчитывая, что казначей не будет читать названий всех фолиантов — и от переплетчика клавикорды были доставлены в гостиницу.

Разумеется, все от того же «высокого покровителя». Маркиза благосклонно улыбалась, Мари-Ивонн хлопала в ладоши, а он мог танцевать теперь с ней и менуэты, и вальсы. Разве это было

таким уж преступлением? Он вернет их на старое место, когда . . . но о том, что будет, если Шантенели переедут в другое место, он старался не думать вообще. Кому доставлял радость этот пыльный ящик в библиотеке, кроме как разве мышам, которые должны были на него наброситься? Должна же существовать мировая справедливость!

Разумеется: горячечные, бредовые оправдания человека, потевшего голову и забывшего весь мир — вот так, как теперь, когда на обледенелой дороге кружится метель, и одинокий путник, распахнув плащ, склоняется перед ней в поклоне, кружится вместе с ней, и на его губах бродит зачарованная улыбка. . . На что же дана тогда молодость, если не любить, не мечтать и не дерзать!

И-раз, и-два, и раз-два-три, шаг в сторону — поклон и снова раз. . .

Но ветер срывается с горы таким порывом, что учитель Грубер едва не падает на пируэте. Метель, невеста ветра, взметывается во весь свой грозный рост. Это больше не красавица девушка в белом шелку. Она швыряется в лицо комьями обледеневшего, острого снега, воеет бурей, грохочет дальними лавинами, обрушивающимися на дерзких смельчаков, осмелившихся подняться слишком высоко. . .

Может быть, все началось с невинного благодарственного письма, написанного старым маркизом своему высокому покровителю? Или? . . Или маркиза-мать заметила, наконец, что воодушевление и учителя, и ученицы было совсем не таким уж невинным? Что они стали обмениваться записочками, вкладываемыми в книгу — помимо красноречивых взглядов? Что они уже поклялись в вечной любви друг к другу?

Отъезд произошел неожиданно, наспех, ошеломительно, в смертельной тоске. Даже не в почтовом дилижансе Турн-и-Таксиса, а в епископской карете, и в неизвестном направлении. Кажется, в Вену. Или в Зальцбург. Времени для вопросов не было. Ему снисходительно протянули руку на прощанье, поблагодарили за услуги, разсеявшие провинциальную скуку, — милостиво и свысока. Если бы не набежавшая слеза на глаза Мари-Ивонн, не кинутый из под капора взгляд, легкое пожатие руки, передавшей короткую, наспех набросанную записочку с последним «люблю», — то все казалось бы сном.

А затем наступила расплата: вызов к самому монсиньору. Как он узнал? Неважно. Но он узнал все. Конечно, Грубер при-

знался сразу в своей вине, — и ждал сурового приговора. Он уже видел перед собой решетку епископской тюрьмы, хотя клави-корды были водворены на старое место, столько он успел сделать.

Но монсиньор недаром жил в просвещенный век, недаром чувствовал себя на паркете не хуже, чем на ступенях алтаря, и покровительствовал литературе и искусствам.

— Он считает, что он мог позволить себе выполнить мои обязанности покровительства моим достопочтенным родственникам, не ставя меня о том в известность? — задал он сухой, иронический вопрос. Он обнаружил немалую изобретательность ума, и, *parole d'honneur*, отменный вкус! Чем же, по его мнению, он может заслужить себе прощение, хотел бы я знать!

— Подвигом! — выпалил Грубер, считая, что терять ему больше нечего, и со внезапно вспыхнувшей надеждой, что он действительно может еще совершить такой подвиг, который даст ему не только прощение епископа, но и возможность обратиться к маркизу де Шантенель с просьбой о руке его дочери. В ранце каждого солдата фельдмаршальский жезл!

— Сколько ему лет? — задал вопрос епископ.

— Двадцать два, монсиньор . . .

— В двадцать два ему разрешается мечтать о подвигах, в особенности после таких проделок, — улыбнулся епископ. — Ему разрешается даже совершать их. Завет великого корсиканца, а? На этот раз я сменю гнев на милость, но условно: он может отправиться совершать подвиги, ему дается на это пять лет. Через пять лет, как древний римлянин, он возвращается ко мне или со щитом, чтобы доказать мне, что мы оба не ошиблись, — или без щита, если он потеряет его в битвах. Не все сражения выигрываются — как показывает история . . . Тогда я еще посмотрю, как с ним поступить!

И он смахнул с лица улыбку, милостиво протягивая руку с перстнем.

. . . нет, ни одна рука не протягивается из метели, чтобы под-держать, указать на правильный путь, представить случай отличиться, проявить себя. Нет, десятки рук, сотни рук бьют по голове, толкают в спину, чтобы упал, колют, щиплют, режут, наносят тысячи мелких ударов со всех сторон. Ноги скользят на льду, как и на паркете, плащ не защищает от ветра, заочневшие руки с трудом держат палку, и она еле помогает удержаться на ногах.

Ах, подвиги!

Конечно, не только же на полях сражений... наполеоновские войны кончились, все страны разорены, обессилены, обескровлены, везде беспокойство, нужда, борьба... Но в конце концов, у него склонность к музыке, у него есть некоторое образование, он знает французский язык, молод, здоров, и не глуп. И обезумел от любви, конечно, а любовь двигает горами.

Но нет, не сдвинулись горы. Вот они лежат вдалеке застывшей громадой, темные; щетинятся лесом, и с них несетя холодный, режущий ветер, буря, разметывающая все, издевающаяся надо всеми надеждами.

Пять лет! Пять лет исканий, скитаний, лишений и беспросветного отчаяния. Друзья, оказывающиеся интриганам; неудачные советы; недостаток таланта, неумение найти случай — все, самое разное, но направленное к одному: неудаче. Такая судьба...

Он сдался ей через пять лет. Печально усмехаясь, чуть ли не в том же потрепанном плаще, согласно данному обещанию (дело, конечно, не в обещании, а в том, что все равно, в сущности, мечта погасла, жизнь не удалась...) явился к епископу. Тот долго всматривался в него, пока узнал. Кивнул головой и молча собственноручно написал назначение школьным учителем в Оберндорф.

— Пусть он не отчаивается, — сказал епископ. — Оберндорф маленькое местечко, но и там нужны люди. Человек никогда не знает, на что он может пригодиться. Пути Господни неисповедимы.

Почти то же, что говорит викарий. Славный человек, епископ, все таки. Но он был рад уйти из его дворца — слишком напоминало прошлое. Где теперь Мари-Ивонн? Блистает в каких нибудь залах, вышла замуж...

Лизель досталась ему в наследство, так сказать — молоденькая вдова бывшего учителя. Тихая, спокойная, скромная Лизель. Она ничем не походила на мечту — но чтобы стала делать Мари-Ивонн в задней комнатке дома викария в Оберндорфе?

Горечь и пыль дорог вьелись в морщины, согнули плечи, затуманили взгляд. Одно только и осталось: книги, музыка, разговоры с викарием. Что еще может он совершить, чего добиться в жизни, и, самое главное: что стал бы он делать, если бы ему выпало вдруг на долю самое сверкающее счастье? Ничего он не смог бы сделать с ним теперь, — как и не смог пробиться к нему



в жизни. Горько это — остаться в стороне, и только из своего угла следить краешком глаза, как на большой дороге пронесится мимо — жизнь...

Буря стихла. Ветер дул теперь слабыми порывами, спадая. Снег шуршал все тише. Дорога поднималась на высокий холм. Сперва его верхушка почти сливалась с небом, но с каждым шагом становилось все светлее. Не от снега только, засыпавшего ели, а от светлевшего неба. Тучи улеглись теперь на землю не серой своей изнанкой, а блестящей лицевой парчой, и над ними в небе показались звезды, как огоньки в бесчисленных храмах.

Громадная светлая тишина так ощутимо заполнила все, что это она, а не снег похрустывала под ногами. Сразу стало легко и ровно дышать. Еле заметной точечкой, где то очень далеко внизу блестел огонек. Кто то не спал еще, и от свечи за его окном шел не только свет, а плыли волны каких то звуков — таких тихих, что Грубер затаил дыхание, прислушиваясь.

Все бывшее, вставшее снова и пережитое, — в который уже раз? — но редко с такой полнотой, как во время этой ходьбы, — отошло вместе с ветром, улеглось где то глубоко под снегом, и не болело больше. Нет. Тихо, спокойно, немного грустно и светло было на сердце. Может быть, такое чувствуют люди, которые умирают с невыразимо светлой улыбкой. Но он не думал о смерти. Жизнь снова казалась прекрасной — да, вот эта тихая, простая, и глубокая жизнь среди полей.

«Тихая ночь!» — неслышно прошептал Грубер и поднял голову. На небе сияла громадная звезда и от нее тоже плыли убаюкивающие, но торжественные, ликующие и простые звуки, как от крохотной свечки где то там, далеко на земле.

«Святая ночь!» — прошептал он и вдрут, упав на колени на дороге, уткнулся лбом в прохладный, дышащий свежестью неведомых миров сугроб, и заплакал радостными, примиренными слезами.

«Благодарю Тебя, Господи, за все. Аллилуйя!»



Шел уже последний адвент, когда мыши съели орган. Конечно, не самые медные трубы. Но меха были прогрызены насквозь, все сплошь, и дыры оказались такой величины, что о починке их нечего было и думать, а все деревянные части органа оказались подточены тоже, и крошились в руках.

Это было обнаружено викарием и учителем, когда они пришли оба на Ангелус — и в тихое вечернее раздумье молитвы обрушилось на них страшным ударом. За несколько дней до Рождества!

— У господина Роберта Саути, — сказал наконец викарий, вытирая пот со лба и выпрямляясь, — есть баллада о епископе Гаттоне. Его съели мыши в башне. Но я никогда не прогонял голодных от моего стола, а меня погубили мыши тоже. За строптивость. Я роптал на наш маленький, старый органчик, совсем недостойный ни церкви, ни вашей игры. Теперь я готов был бы поститься и молиться трое суток подряд, чтобы он оказался цел. Но его невозможно починить вообще, а в такой короткий срок в частности. В наказание за мои грехи, рождественская месса пройдет без органа. Что скажут прихожане? И будут правы.

Он махнул рукой и вышел из церкви.

В таком унынии Грубер еще никогда не видал викария, но представить себе рождественскую мессу без музыки он тоже не мог. В этот вечер он почти не прикоснулся к ужину. Рука с ложкой застывала на полдороге. Он смотрел перед собой неподвижным, что то вспоминаящим взглядом, и не проронил весь вечер ни слова.

Луна медленно осветила угол окна, когда Грубер откинул тяжелый пуховик в мешке из домотканой холстины и спустил с кровати ноги. Осторожно, чтобы не разбудить жены, он поднялся, и засветив свечу, заслонил ее от спящей. Спальня служила им одновременно и общей комнатой; на столе перед окном всегда лежала чистая бумага и перо. Но Грубер вытащил из под стопки книг другой листок, на котором им самим были тщательно вычерчены нотные линейки, и согнувшись над столом, не замечая холода, но дрожа от внутреннего озноба, он всем своим существом, всеми чувствами вспоминал, вслушивался, воссоздавал картину той ночи после бури, когда он шел из Зальцбурга. Те звуки, которые неслись со звезды, одинокаго огонька в долине; — песнь громадной, светлой, радостной тишины.

И снова, со слезами восторга, он чувствовал, как отходит от него вся жизнь, все ее мелочи, горести и неудачи, и остается один торжественный, ликующий аккорд: аллилуйя!



— Вот, ваша милость, — сказал он на следующее утро, еще не начав занятий в школе, а явившись к викарию в неурочный

час, — у меня готов еще один смелый план в моей жизни. Я написал музыку для рождественской песни. Вы напишете к ней текст. Завтра я составлю хор из детей, и мы исполним ее на рождественской мессе. Вместо органа, — хорал.

— Хоралами, милейший Грубер, называться светские песни не могут — наставительно сказал викарий. — Хотя, parole d'honneur я никогда не мог понять, почему. Да простят мне все отцы церкви, но я нахожу божественное и в некоторых менуэтах даже. Они не простят мне, ибо никогда не узнают об этом. Уберите ваши линейки и закорючки. Возьмите гитару. Но не думаете ли вы, что гитара недопустима в стенах церкви?

Он сразу замолчал, однако, и забыл даже затянуться из трубки, и дымок ее медленно расслаивался в воздухе серенького зимнего утра, проникавшего к окнам. Совершенно не похожие ни на что, гулкие ликующие аккорды, как летящие звезды срывались со старой широкобедрой гитары, и голубая лента, свисавшая с грифа, казалась лучом в темноте.

«Тихая ночь... святая ночь...» подпевал Грубер.

— Играйте дальше — коротко приказал викарий, когда учитель остановился, и потянулся за пером. «Тихая ночь, святая ночь»? Да, именно так...

Они сидели наверно часа два. Викарий подпевал тоже, гудел под сурдинку глухим раскатистым басом, как гора, и нежно стлался к нему мягкий баритональный тенор учителя. Они вставляли отдельные слова, отбрасывали их. Викарий хмурился. Ведь знаком же он со стихосложением, с лучшими образцами! Не говоря уже о хоралах и гимнах, сколько гениальнейших поэтов древности и современности пришлось ему перечитать, и в мыслях у него тоже как будто недостатка не было...

Но на бумаге получилось совсем не то. Нет, чтобы быть стихотворцем, недостаточно знать, чувствовать, мыслить. Надо еще и другое — вот тот голос, который или дается, или нет, но никаким знанием нот не достигается...

Он зачеркнул все написанное, и взял только самые простые слова. Пусть будут доступны всем.

Тихая ночь... святая ночь...  
Спит в ночи мир земной,  
Только плотник с своей Женой  
Охраняют Младенца покой. —  
Спи, Младенец святой,  
Спи, Младенец святой...

7

Учитель заторопился, очнувшись вдруг. Дети давно ждут его в школе! Он схватил исписанный, перечеркнутый листок, пробормотав, что переписет сам, и только входя в облаке свежего морозного воздуха в школьную комнату, вспомнил, что викарый даже ничего и не сказал ему: только как то внимательно взглянул и крепко пожал руку.



Но раздумывать было некогда. До Сочельника оставалось несколько дней. Никогда еще Грубер не ощущал такого значения приготовлений к празднику. Но до сих пор — что же? Все ограничивалось, главным образом, уборкой в доме, от которой ему приходилось спасаться в пивной или к викарью, хотя спастись гденибудь от предпраздничной уборки трудно; кулинарными хлопотами Лизель, которая пекла и варила по каким то странным рецептам редкие на их кухне вещи, всегда сокрушаясь, что самых нужных, дорогих приправ она, конечно, не может купить; установлением вертепа в церкви; вот, за последние годы, убранством елки румяными яблоками и разными украшениями, которые готовил он сам. Да, еще конечно: для некоторых бедных детей в школе он мастерил, начиная с первого адвента, незамысловатые игрушки в подарок.

В сущности и все остальные выполняли приблизительно то же самое, в зависимости от средств и размеров семьи, как и все другое, полагающиеся на особые дни. На Рождество значит: уборка, печенье, подарки, месса, гости, расходы.

Так ли это?

Впервые пришлось задуматься. Впервые он понял, что есть вещи, которые скрываются под внешними, обыденными, скользящими мелочами, и они входят под кожу, проникают внутрь, исходят и извне, откуда то сверху, и изнутри, из откликающегося сердца, становятся не только частью дня, а обрядом, дающим ему глубокий смысл.

Может быть, Лизель или пивовар переживают, на свой лад, приблизительно одинаково — и не так, как он. Но кто знает? Он, во всяком случае чувствовал, что вот эти рождественские приготовления для него не просто хлопоты — а он живет ими, и снег за окном, звезды на небе, запахи, краски, блески, — все приобретало глубокий смысл, все казалось — еретическая мысль! — неслышно творимой молитвой.

Он не додумывал мысли до конца, а просто ощущал ее. Раздумывать было некогда. Подобрать хор, заставить детей выучить текст, и спевки, спевки одна за другой. И как они должны стоять в церкви — шутка сказать, сколько народу соберется, все будут смотреть на них. И опять спевка. Не хватает глубины в этом аккорде... не хватает голосов — нет, они должны петь, как ангелы на небеси, а не как Зеппы, Францли и разные Резхен!

... А снег все шел, и шел, и шелестел чуть вятно, что в Оберндорфской церкви мыши съели орган, но готовится что то необычайное. Только что именно, не знал никто, да и некогда было узнавать — Сочельник завтра. Пожалуй, наметет только сугробов, что не пройти будет!

Сугробов было много. Но уже с утра расчищали тропинки, и снег улегся, завернулся в тучи, ушедшие на ночлег в горы. С гор же постепенно спускалась глубокая, звездная синева, открывшая вдруг заблестевшее небо. Снег тоже стал синим и голубым, с оранжевыми огоньками от фонарей. Фонари двигались отовсюду в Оберндорф — с ближних гор, по холмам, с долины, от отдельных дворов. Шли, топая по снегу подкованными башмаками, повязанные платками, степенно и тихо целыми семьями, с фонариком впереди. Кто ехал в санях, кто шел, да и не темна была ночь, но так уж полагается: с огнем...

Может быть, этот живой огонь в душах тоже? Вопрос задавали себе не они, а Грубер, выходя из школы. Он шел впереди детей и сам нес фонарь, и ему казалось, что он шатается от волнения, и идет на причастие впервые в жизни — сам такой маленький, колеблющийся огонек, как эта свеча за стеклянной дверцей...

В переполненной народом церкви псалмы звучали беднее и проще, чем всегда, и на многих лицах было видно разочарование. Надо же было случиться такому в самый праздник!

Но вдруг потухли свечи, в наступившей тишине послышался невнятный шопот, потом и он стих. Наступило молчание. Прихожане изумились. Такого еще никогда не было. И вот, через минуту напряженного молчания, внезапно осветились ясли в пещере с горящей над ней звездой, на гитаре сбоку у алтаря раздался первый, еле слышный, прерывистый аккорд — и внезапно откликнувшийся хор молодых, проникновенных голосов:

«Тихая ночь, святая ночь!»

Песнь росла, поднималась под своды, рвалась в окна, под небо. Неуверенные вначале голоса окрепли, выросли в торжественную, ликующую весть:

«Наш Спаситель пришел!»



— Как уже сказано: пути Господни неисповедимы, — сказал на следующий день викарий за праздничным обедом. — Вы заметили, дорогой Грубер, что я даже не похвалил вас, когда вы пришли ко мне с песней. Конечно, я был увлечен текстом. Но не только это. Теперь, после вчерашней мессы я могу сказать наверняка: может быть, вы и сами не сознаете, что сделали, и так и лучше. Но вы написали песню, которая переживет нас с вами.

— То же сказала мне вчера и Лизель, — усмехнулся Грубер.

— Ваша жена права, как всегда. Вы подслушали ангельский хор. Он раздаётся обычно в тишине, и ничего общего с разумом не имеет. Но зато с сердцем и душой. В наше ужасное, взбаламученное время не все, дорогой Грубер, могут жить такой тихой, незаметной жизнью, как мы здесь с вами в Оберндорфе. Не думаете ли вы, что многие могли бы позавидовать нам? Вы сделали больше, чем подвиг: вы нашли, обрели, и подарили многим людям драгоценный дар: кусочек той тишины, от которой у человека наворачиваются на глаза слезы и смягчается сердце. Это — милость. И больше, человек, собственно, не может дать — и не должен был бы давать ничего иного. Аминь.



Да, «Тихую ночь» исполняли потом каждый год в Оберндорфской церкви. Орган был вскоре починен мастером Карлом Маура-хером из Циллертала, а известно, что тирольцы — песенный народ. Он записал слова и ноты себе на память, и в Тироле песню выучили, кроме всех остальных, и братья Страссер, по своему цеху — перчаточники, ездившие с товаром по ярмаркам, и увеселявшие покупателей тирольскими песнями. В 1831 году они спели «Тихую ночь» Францу Альшеру, органисту Лейпцигской церкви; Альшер так восхитился ею, что попросил братьев повторить ее на рождественской мессе в королевской придворной капелле в Плейсенбурге.

Безжитростная песня Франца Грубера и Иозефа Мора вызвала в залитой золотом королевской часовне такие же слезы на глазах у придворных, как и у простых людей! На следующий день ее разучивал весь двор, весь город — и к следующему Рождеству она облетела всю страну.

— Кто автор этой песни? — спросила у капельмейстера Берлинской придворной капеллы в 1854 году графиня Мари-Ивонн фон Эшенх. Графиня была известна, как любительница музыки и покровительница бедных композиторов.

— Мы считали ее тирольской народной песней, ваше сиятельство, но... — почтительно поклонился капельмейстер.

— Но мне говорили, что Гайдн?..

— Эта песнь была впервые исполнена в Оберндорфской церкви в 1818 году, ваше сиятельство, а Гайдн умер за двенадцать лет до того. Нет, текст песни написан викарием Иозефом Мором, а музыка учителем в том же селении Оберндорф, любителем-органистом Францем Грубером. Я как раз получил от него письмо, в котором он хочет положить конец разгоревшимся спорам об авторстве, в виду необычайного внимания, вызванного этой песнью...

— Франц Грубер... — задумчиво повторила графиня. — У вас есть это письмо? Я хотела бы его прочесть.

Она милостиво кивнула, опустила лорнет, и удалилась — стройная, все еще красивая, несмотря на седины, придворная дама.

Потом она читала, стараясь представить себе писавшего. Тот ли? Сходились года, имя, даже местность, а вот лица его теперь она не могла себе представить — все заслонил кусочек заметенного снегом прошлого: послереволюционных скитаний, бедности, и легкого романа с бедным учителем. Как он смотрел тогда на нее! Конечно, в молодости прощаются подобные вещи, но... Конечно, каждый из них пошел своим путем, и она ни о чем не сожалеет, нет, но...

Она долго колебалась, прежде чем написала письмо:

«Мой дорогой и незабывтый друг!

Если Вы — действительно тот, кто обещал мне когда то совершить подвиг — то поздравляю. Я только что услышала Вашу «Тихую ночь» — и вспомнила маленькую елочку в Берхтесгадене в бедной гостинице, снег, ели, горы, — и кусочек незабвенной

молодости. Мой дорогой друг, Вы совершили больше, чем подвиг: Вы дали людям редкую радость — и не только на мои глаза вызвали восторженные слезы, — а я думала, что уже разучилась проливать их. Благодарю Вас!

Мари-Ивонн».

Франц Грубер не успел прочесть этого письма. Оно пришло вскоре после его смерти. Он умер в тихой горной деревушке, вблизи Оберндорфа, куда доходили только редкие вести о спорах вокруг «Тихой ночи». Многие серьезные критики считали песню слишком простой, обыденной, банальной для церковного хорала и вообще, многие возмущенно удивлялись тому, что в ней находят другие.

А она звенела по всей Германии, Австрии, перекинулась на соседние страны; ее перевели на восемьдесят семь языков всех народов. Сорок лет спустя после смерти и учителя, и викария, о ней узнал весь свет. Сто лет спустя не было страны, где бы ни пели ее на Рождество — и в католических, и в протестантских странах. В церкви, в каждом доме, около каждой елки. Она стала провозглашением праздника: пели взрослые, дети, старики. Пели в родном доме — и вдали от него: на море, в плену, в пустыне, в тюрьме. Пели на грамофонных пластинках, по радио, в рекламной предрождественской сутолоке магазинов даже.

Но есть звезды, которых нельзя низвести на землю. «Тихая ночь» стала не только символом Рождества, не только общеизвестным хоралом. У нее есть свое, особенное свойство: кто бы и где бы ни был, — но каждый, при первых ее звуках невольно прислушается, к тому, что лежит у него на самом дне души. Вспомнит, может быть. Поверит, может быть. И услышит звездную тишину такой бесконечно далекой — и близкой ночи.

Ночи, когда человеку была дарована милость.



## Л а с т о ч к а

— Это все? — спросила баронесса, вынимая из машинки дописанный лист. Привычным движением поправила стопку бумаги, лежавшую сбоку, и взглянула на накаленные солнцем пыльные стекла. За стеной трещали другие машинки. В голом и неуютном редакционном кабинете пахло горячей летней пылью, табачным дымом и старыми газетами.

Семен Яковлевич просмотрел конец статьи, бросил страницу на стол, откинулся в кресле и закурил.

— Я думал, что до ночи не окончу... сегодня обедали в Римском погребе — ну, выпили, конечно... Но с вами всегда быстрее идет. Марья Михайловна, если ей попадетс я какое нибудь ученое слово, так она два раза переспросит, а в третий раз наврет, при всем моем к ней уважении... Но вас я уважаю больше, и даже спрашиваю себя иногда, за что? Я не психолог, я просто юрист, но насмотрелся на людей. А вы... ну, хорошая машинистка, ну, образованы, спокойный характер. Как женщина вы недурны, и вкус у вас есть, и эти ваши серо-голубые тона вам к лицу, свой стиль, но красавицей вас не назовешь. Что еще можно прибавить? Яхту? Для вашей бабушки это было бы оригинально, но теперь спортсменок сколько уютно. Вы очень порядочная женщина, с этим никто спорить не станет, но разве я мало знаю порядочных женщин? А отношусь я к вам иначе, чем к другим, и почему? Остается еще одно: титул. Но позвольте спросить вас, что же это значит теперь?

Семен Яковлевич еще больше откидывается в кресле, вытягивает ноги и засовывает руки в карманы. У него умное, горячее лицо, только брови слишком резки и навязчивы, как у плохо загримированного актера. Он ожесточенный резонер и любит философствовать.

— Может быть потому, — задумчиво отвечает баронесса, — что вы и многие другие, привыкли ждать от нас, бывших привилегированных людей иррациональных поступков. Вы современны. Вы рациональны. И может быть именно потому вам хочется, чтобы не все были такими, как вы! Может быть именно потому вам хочется, чтобы баронесса Керн поступала вопреки вашему здравому, практическому смыслу, вопреки логике, в ущерб себе, и только потому, что даже нищий король должен быть верен своей короне.

— Это же парадокс, баронесса! Но, может быть, вы и правы. Может быть!

Баронесса улыбнулась и вернула под валик чистый лист. В дверь просунулась голова другого сотрудника.

— Вы свободны? Значит начнем: «Пятого июня. Лондон. Как сообщают из вполне осведомленных источников, в ближайшее время предполагается...»

Ни в самой баронессе, ни в ее жизни не было ничего особенного. Хорошая, тихая, скромная середина, может быть, даже слишком — середина. Баронесса часто думала об этом, по дороге. Она всегда ходила в редакцию и домой по одним и тем же улицам: широкий липовый бульвар с высокой папертью византийского собора, узкая кривая улочка старого города, звенящие от ветра пролеты моста через мутные волны Двины, запах пристани, мокрого дерева и смолы над тихими садиками Задвинского предместья — и своя калитка.

Сад и уютный провинциальный домик достались в наследство от тетки — очень кстати после революции. Впрочем, до революции у них тоже было немного — последнее родовое имение в Курляндии было проиграно в карты еще дедом, а отец, лихой моряк, тратил все что мог, на яхты. Как только его миноносец входил в порт, так уже часа через два «Ласточка», любимая яхта, резала носом двинскую зыбь, выходя в море. Иногда он брал с собой дочь, и она тоже полюбила воду. Потом, когда отец погиб у Колчака, и они поселились с матерью в теткинском домике, «Ласточка», старая, но прочная и легкая на ходу, стала единственной подругой.

Мать вела хозяйство, она училась. Сперва гимназия, потом машинка, потом поступила в редакцию. Одна знакомая, имевшая мастерскую, научила ее ткать персидские ковры — в свободное время. Жалованье в редакции было не очень большое, и два-три ковра в год служили хорошим подспорьем. Вот и весь внешний ход ее жизни.

Сама жизнь была такой же скромной, приличной и простой. Зимой домик заметало сугробами, летом в окна тянулись сирень и жасмин. Каждый день выходил свежий номер газеты — захлебывающаяся торопливость однодневной мухи. Важно только то, что должно пойти сегодня, завтра это теряет смысл. Машинка, диктовка, разные голоса, акценты, лица — и всегда одно и то же.

У нее была недорогая шубка, несколько раз в год шились платья. Зимой ходила по вечерам в театр, концерты, кино, читала. Весной надевала рабочий костюм и конопатила, красила, лакировала свою любимицу. Иногда навязывалась шумная компания знакомых, но обычно она уходила одна по Двине, на взморье. На палубе сразу обвевал ветер, сдувал типографский налет. Баронесса четко и ловко управлялась с парусами, глаза блестели, энергичный вызов молодил лицо. В штиль хорошо было лечь на палубе, закинуть руки за голову, смотреть, чуть прищурившись, на горизонт. Солнце так сверкало, что казалось — вот-вот сейчас должно выплыть огненным шаром настоящее, огромное, небывалое счастье.

А может быть, это счастье появится вдруг из-за такого знакомого поворота улицы? Вот за этим домом — или за тем? И что это: счастье?

Мысли не перебивают обычного, выработанного шага. Мало ли что думается, когда идешь по улицам. Иногда она подолгу рассматривает себя в зеркало: какой ее видят другие? И видно: ничего особенного. Да, стройная фигура, но от парусов и ткацкого станка чуть грубоваты руки, голова кажется слишком маленькой от тонких и не густых, залызанных в старомодной причёске волос. Не красива и не урод — просто неинтересна. Она любит серые и голубые пастельные тона, в редакции это называется «цвет баронессы», но все платья кажутся слишком одинаковыми, если не приглядеться. А кто будет приглядываться?

Она не пьет, не курит, и на вечеринки к знакомым ее приглашают редко, а для больших балов нет туалетов. Знакомых много, и у нее со всеми хорошие отношения, но слова и улыбки, и взгляды скользят мимо, как проплывающие берега. Ею не

интересуются. А ей так хотелось бы узнать, в чем заключается этот особый, повышенный интерес к жизни, это счастье из всех настоящих романов. Кому же это сказать?

Мечтают в жизни все. В пятнадцать лет — героические подвиги, великие и смутные, фильмовые герои, и невероятное счастье должно быть, потому что иначе не может. В двадцать и дальше радуга блекнет и тверже упирается в землю. Мечтают добиться поставленной уже цели, и, конечно, о любви: настоящее, глубокое, серьезное чувство. Бывает же оно у других — а впереди еще много времени и сил.

В тридцать лет мечта становится судорожной и острой — от боязни упустить и не заметить чего то, самого главного; хочется не надеяться больше, перестать мечтать, добиться, наконец, если не всего — то хоть скольконибудь!

А потом уже, в сорок — мечта становится воспоминанием — о том, что могло бы быть, если бы все сложилось иначе. Неудачное прошлое сжимается в горький комочек страшного слова «бы», ибо те, у кого этого «бы» нет, счастливые люди, и им нечего мечтать.

А так — все, всегда...

\*\*\*

Когда баронесса смотрела в зеркало, в глазах матери появлялась тревога. Раньше как то легче — и раньше! — выходило замуж. Баронесса только пожимала плечами в ответ на осторожные намеки. Что ж — ей двадцать восемь лет — останется старой девой, не судьба. Или недостаток темперамента — в сущности одно и то же.

Когда Веневитинов пришел вместе с председателем армянского общества, покупавшим ковер, баронесса радушно предложила выпить кофе по турецки. Ковер был продан очень удачно, старый знакомый не торговался. Веневитинова она знала только по сцене, и вблизи он оказался таким же: слегка седеющий джентельмен, слишком сухой для героя-любовника и слишком характерный для ролей благородных отцов. Спокойные уверенные манеры хорошо воспитанного и знающего себе цену человека, и очень красивый, прекрасно разработанный голос мастерского декламатора. Он не был кумиром гимназисток, но зато незаменимым партнером в бридж. На сцену пошел не столько по призванию, сколько по честолюбию. «Единственная возмож-

ность в наше время поддержать блеск старого имени — на сцене» — говорил он, и для среднего актера был слишком интеллигентен.

В следующее воскресенье счел нужным извиниться за деловой повод первого посещения и преподнес баронессе несколько чайных роз. Воскресный пирог был особенно удачен, чаепитие затянулось. Говорили о театре. Визиты Веневитинова стали повторяться.

Так начался роман: вспыхивающие улыбки, вздрагивание голоса, затуманенная нежность взгляда, встречи, прогулки, букетики фиалок и роз, стихи и рассказы о детстве, словом все, что полагается в романах.

Не было только одного: любви.

Брак баронессы был очень хорошим, приличным браком. Мать умиротворенно помолилась, и переехала в самую маленькую комнатку, оставшись вести хозяйство, о чем ее просил Веневитинов.

— Вы, конечно, согласитесь, — говорил он, целуя ей руки — что лучше всего, если все останется по старому. После мебелированных холостых комнат хочется, знаете ли, настоящего семейного уюта, тишины. Кроме того, моя жена может, конечно, не работать, но я не думаю, что она сама захочет отказаться от своей самостоятельности — что ж поделаешь с современной молодежью!

В разговорах с матерью и дочерью Веневитинов всегда подчеркивал свой возраст и седые виски. Подчеркивал он и многое другое — а больше всего свои взгляды и привычки, которые конечно, уже поздно менять в его годы. Но никто и не думал противоречить.

Он был вполне доволен. Жена никогда не просила у него денег сверх его доли в хозяйстве — а семейная жизнь обходилась дешевле холостой. Для актера, которому надо иметь гардероб и показать тон там, где нужно — это очень важно. Приятно также иметь хоть и небольшой, но собственный домик, и притом дом, где считаются с его вкусами. Сравнивая свою семейную жизнь с другими актерскими семьями, он каждый раз гордился своим выбором. Его жене не придет в голову обзавестись кучей детей с пеленками и ревом, устраивать истерики, если он посидел в ресторане или за бриджем, ревновать к актрисам и влюбленным гимназисткам. Она недурна, достаточно молода, умеет одеться и не слишком темпераментна — что тоже, откровенно говоря, было бы не слишком желательно в его годы — и после его молодости...

Баронесса — по старой привычке все продолжали называть ее так — тоже не могла пожаловаться на мужа. Он был всегда любезен и вежлив, особенно при посторонних. Дома они встречались мало. Она работала днем в газете, а вечером он играл в театре. Иногда помогала учить роли, подавала реплики. Актеров он приглашал к себе с большим выбором и редко — к растрепанной и разухабистой богеме относился покровительственно, но свысока, предпочитая знакомства с более состоятельными и солидными людьми. Узнав, что в театре его называют «дрессированной змеей» — баронесса улыбнулась, и то, что она не обиделась за него, не показалось ей странным.

Она следила за тем, чтобы ему было удобно и приятно жить, и ей было приятно, что он не мешает ей. В спальне легко разочарование первых дней, когда невольно, как девочке, хотелось спросить: «а почему это называется счастье?» — немного пощемило, но потом перешло в уверенность, что так и надо, или у нее просто нет темперамента. Во всем остальном жизнь шла попрежнему: работа в газете, летом «Ласточка», на которой она снова уходила одна, потому, что он отдыхал, зимой — театр и ковры. Он не любил стука станка, морщился, но терпел — расходов стало больше.

Говорили они на волнующие темы мало, да и о чем собственно разговаривать женатым людям? А мечтать баронесса не позволяла себе больше вовсе, да и о чем собственно мечтать?

Словом, это был очень приличный, хороший, прекрасный брак. В нем было все, что полагается для каждого брака.

Не было только одного: счастья.



В долгую летнюю засуху 1939 года резким ошеломляющим громом ударили германские пушки под Варшавой. Захлебывающееся радио не успевало передавать известий. Вчера Варшава перешла на военное положение — сегодня Варшава взята. На следующий день в Балтийских государствах была объявлена мобилизация — еще через день балтийские порты стали опорными пунктами Советского Союза.

Это было первым ударом — и настолько странным, что он не мог еще уложиться сразу в сознании людей, привыкших к мирной жизни, свободе и самостоятельности, к договорам и международному праву, ко всему тому, что уничтожалось вдруг, неожиданно и издевательски просто. Было — а вот и нет.

В первые дни октября Рига взметнулась в судорожной панике, подхлестываемая одним только, но зато самым ужасным словом: большевики... Советские войска на границе! Большевики занимают Балтийские государства! Договор о ненападении? Это не допустит Англия! Этого не позволит Германия!

А завтра они будут здесь...

В мирной жизни следующий день не является проблемой — он не уравнение со всеми неизвестными, а простая арифметическая задача. «Завтра» становится пугающим и жутким только, когда его больше нет, когда земля проваливается из под ног, ускользает из рук, как подрубленное дерево, — раскалывается и ухает вниз. И если не совсем было сразу понятно, что такое «военные точки опоры», то тем более понятно стало, что никакой опоры больше нет.

В первых числах октября в ошеломленный, лихорадочный город ворвался набат: Германия репатрирует прибалтийских немцев! Значит: большевики приходят. Значит: Балтику возьмут. Значит: война неизбежна. Те или эти? Спасайся, кто может!

Куда? Все равно... куданибудь! Как? Безразлично. Какнибудь... главное: скорее, скорее, скорее...

Ювелирные магазины были по распоряжению правительства закрыты. Цены на золото, брильянты и валюту сразу поднялись вдвое. Вещи распродавались за гроши. Первые пароходы за репатриантами бросили якорь у рижской пристани. Здоровые парни в коротких черных штанишках и белых носках с голыми коленками — невиданный в Риге наряд — появились с независимым видом на улицах. Они ходили по домам, составляли списки желающих уехать. Уговаривали непонимающих. Были и такие, но было еще больше других — русских и латышей, воспользовавшихся немецкой или онемеченной фамилией, своей, девичьей жены, матери, тетки, бабушки, чтобы на основании этого уехать. В особенности, когда первые дни паники прошли, большевики еще не приходили, а было объявлено, что уезжающие могут взять с собой всю мебель и вещи до последней плоски. За недвижимое имущество тоже обещали возместить сторицей в новом отечестве. Но об отечестве думали всерьез очень немногие. Главное не отечество и родина, а главное: большевики. Потому что то, что будет в Германии — еще неизвестно, а здесь уж наверняка будет то, что было двадцать лет назад, в советской Латвии: пытки и смерть.

Но были другие: иллюзионисты. Почему непременно Балтику должны взять? При современной технике война не может длиться годы. А если, ввиду буферного положения, Балтика станет в новой войне второй Швейцарией? Нейтралитет, спекуляция, международный шпионаж... словом, расцвет и вообще... не так уж страшно. И не может быть, чтобы Англия допустила...

— Как ты считаешь? — спросила баронесса у мужа.

— Ерунда. Что нам Германия? И что мы Германии? Рудольф Александрович даже рассмеялся, когда я спросил его в театре, едет ли он. А уж кажется — барон Унгерн-Штернберг. А ты разве немка?

— Конечно нет!

— Конечно нет... ответила баронесса, когда великовозрастные мальчики пришли к ней. — Как видите, я даже не очень хорошо говорю по немецки, в гимназии только выучилась...

— Это очень печально, но в новом отечестве, куда вас зовет фюрер...

— Единственное мое отечество — Россия, — резко перебила баронесса. — мои пра-прадеды были уже русскими офицерами, присягали русскому царю. Моя родина — Балтика, а родина это не платье, которое можно переменить. Кроме того, мне кажется странным такое радушное приглашение вашего фюрера, который вообще то не отличается особенным человеколюбием, если вспомнить нюрнбергские законы...

Гитлеровские мальчики оскорбленно удалились.

Паника понемногу улеглась. Грузовики развозили по улицам «лифты» — громадные деревянные ящики для упаковки мебели. Закрывались магазины — фирмы, существовавшие по несколько сотен лет. Закрывались общества, музеи и церкви, расторгались и заключались заново браки. Родители оставляли детей, и дети — родителей. Разорялись последние родовые гнезда, в опустевших садах ветер мел мусорные бумажки, и с пристани отходили последние корабли.

Жизнь, как река, — взбурлила, затопила жилье, — и пошла дальше, выбрасывая на берег клочки пены и ненужные ей щепки человеческих жизней.

В опустевших улицах города гулял ветер, и сурово качали головами старые башни ганзейского города. В истории Балтики перевернулась еще одна страница, а на следующей стояло только одно слово: «конец».

Но до конца прошел еще год.



Через год последние ступеньки деревянной лестницы скрипели, как смешной расхлябанный джаз, и белая лакированная дверь закрылась. Баронесса вошла в комнату, с размаху бросила на тахту шляпу и сумочку, и рассмеялась.

Было весело, просто, и легко от всего: от того, что светило солнце, оттого, что эта комната на мезонине заброшенной взморской даче со светло-зелеными обоями, казалась такой уютной, светлой и радостной, от того, что позади, за белой лакированной дверью захлопнулась вся прожитая жизнь, и от нее ничего, ровнешенько ничего не осталось.

Кроме вот этого смеющегося желания обнять осеннее солнце, улыбнуться веселой рябине в седу, пробежать, как девочке, по дорожке: свободной, веселой и одной. Делать, что хочется, не думая ни о чем, потому что думать было нечего, потому что все тело до самых кончиков нервов пронизывала легкая, пьянящая, чуть холодноватая дрожь от ясного и спокойного сознания того, что каждый день может быть последним. И от этого он особенно хорош, и надо выпить его весь до последней капельки, и каждую минуту чувствовать, как хороша эта обреченная жизнь.

За белой лакированной дверью протянулось тридцать километров асфальтового шоссе в Ригу. В пыльный, посеревший, придавленный тупым и безнадежным страхом город.

Их было так много, этих новых людей, пришедших с красными звездами на шлемах, приползших на длинных и низких, как мокрицы, танкетках с хвостом гусеничных следов. Они были такие маленькие рядом с высокими балтийцами, они говорили так тихо, всегда вполголоса, улыбались скользкой улыбкой, скрывавшей все мысли и даже слова, их было так много, как крыс в хлебных амбарах, и они так же, как крысы, безостановочно и неумолимо сгрызали все.

Днем на улицах исчезали улыбки. Ночью из домов исчезали люди. Каждую ночь. Офицеры, латышские и бывшие русские, члены военных организаций, священники, купцы, фабриканты, доктора, инженеры, мужчины и женщины, старые русские эмигранты, коренные русские балтийцы, латыши, евреи, поляки, оставшиеся немцы — все, кто мог чтонибудь делать, каждый, кто умел самостоятельно думать, всякий, кто когданибудь, гденибудь, чтонибудь значил. И каждый живущий еще на свободе стоял на очереди.

Днем эти люди устраивали шествия — развешивали на домах красные флаги, плакаты и портреты вождей. Люди шли вразброд, подолгу топтались на месте у каждого поворота и невразумительно фальшиво пели веселые песни о новой счастливой жизни. Балтика единодушно просила принять ее в состав свободной семьи советских народов. «113 процентов населения голосовали за присоединение» — захлебнулась новая газета, в усердии не справившаяся с арифметикой.

Новая газета была в той же редакции, в тех же комнатах, таких понятных, привычных и близких, куда теперь можно было попасть только по пропуску часового в будке, и уж, конечно, не бывшей баронессе Керн. Редакторов и половину сотрудников арестовали сразу. Остальные — ждали по домам того же.

Одиннадцать лет баронесса проходила знакомой дорогой к знакомым ступеням. Дорога оборвалась. От неожиданно свободных дней она даже растерялась, но потом пошла просить места машинистки в каком то новом бюро. Ее вежливо и немного удивленно выслушали, спросили, кто был ее отец, и в ответ так явно улыбнулись, что ей даже стало стыдно собственной глупости.

Во втором месте повторилось то же, на третье она не пошла уже сама. Что же теперь делать? Начинать новый ковер? А кто его купит? А если и купит, то успеет ли она его кончить, и зачем его кончать вообще, если вся жизнь оборвалась, как гнилая пряжа на станке?

Театром Русской Драмы руководил теперь совет молодых актеров и театральный комиссар. Веневитинов тонко лавировал между ними: молодежь еще не успела потерять к нему, старому премьеру, привычного уважения, а комиссар ценил превосходную читку зажигающих революционных стихов. Веневитинов умел декламировать, и его выступления в Клубе Красной Армии срывали овации. А в жизни он был еще лучшим актером, чем на сцене, и это уж действительно означало первый класс.

Но лавировка была гораздо сложнее, запутаннее, лавировка между карьерой и порядочностью проникла в самую глубь жизни, во все извилины души и мозга. Огромная пустота и прозрачность оголенных дней заставили баронессу подумать и об этом. В конце концов, что же тут было бы особенного?..

— Ты не думаешь, что нам следовало бы развестись с тобой? — спокойно спросила она за воскресным завтраком. — Во пер-

вых, сейчас это очень просто, легко и дешево сделать: причин приводить не надо, длится три дня и стоит пятьдесят рублей. Во-вторых — мы взрослые люди, и я не хочу быть тебе помехой. Мы останемся друзьями, и меня это только обрадует, снимет лишнюю тяжесть, когда я перестану мешать тебе, понимаешь?

Веневитинов передернул плечами и брезгливо поморщился:

— Для женщины ты удивительно благоразумна. Конечно, все эти ночные аресты и так далее... Но что поделаешь — они должны обезопасить себя от всяких покушений. Лес рубят, щепки летят... мне очень неприятно, столько знакомых... но я актер, служу искусству, и хочу служить ему! Комиссар со мной в наилучших отношениях, и советская сцена открывает перед нами такие возможности, какие и не снились раньше. Но... будем смотреть на вещи трезво: моя собственная фамилия не мешает мне нисколько. Хотя род Веневитиновых был достаточно известен и знатен, но кому известно, что это — не мой псевдоним? Имя актера, это афиша, оно должно быть звонким. Я становлюсь своим собственным псевдонимом, так сказать... но если жену зовут баронессой Керн, то это уже не псевдоним. И вдобавок еще твой отец был офицером, и притом морским...

— Так я же предлагаю тебе: давай разведемся. Я уеду куданибудь — и нам обоим будет легче.

Веневитинов встал, прошелся по комнате, закурил папиросу.

— Видишь ли, дорогая, — сказал он, и его голос округлился непререкаемой убежденностью и сознанием собственного величия, как в царских ролях, — я глубоко ценю твою жертву, но целиком принять ее не могу. Я актер, и горжусь этим. Я, может быть, плохой муж — не буду спорить. Но я — не псевдоним. Я Веневитинов. В нашем роду не предавали жен. Может быть, я могу изменить тебе, как женщине, но не как женщине, носящей мое имя. Это мой долг. Это моя честь.

Баронесса слегка вздохнула. Мысль о разводе очень обрадовала ее почему то, а теперь и этот выход, какая то перемена положения, какая то, может быть, отсрочка неизбежного, ускользнула, как вода под килем. Он был актером, влюбленным в свою роль настоящего джентельмена, и был действительно порядочным человеком, влюбленным в свое актерство. Одно перекрывало другое, и все вместе было совершенно безнадежно. Веневитинов притушил папиросу и сел. Величественная мантия соскользнула с плеч, чуть согнувшись от тревожной борьбы за самое главное в его жизни: карьеру.

— Но, видишь ли... я уже хотел намекнуть тебе, и если ты сама поняла и заговорила... ты действительно могла бы помочь мне, только временно, конечно, если бы, — ну, уехала куданибудь, скажем. В тихое, спокойное место. В деревню, в провинцию... хотя новый человек в таких медвежьих углах сразу бросается в глаза... а знаешь, куда лучше всего? На взморье. Вот это идея. Есть такие заброшенные, в стороне от всего, дачки. И сколько зимогоров, как мы их называем, живут там крутлый год. Ты поселишься незаметно, и в город приезжать легко. Может быть даже я навещу тебя, если будет время. Или мы поговорим по телефону, пока так лучше. А я намекну кому надо, будто мы разошлись... ну словом, придумаю чтонибудь подходящее...

Свобода! Чудесный ветер яркого от осенних садов, посиневшего после легкой пыли, теплого, еще не успевшего остыть взморья. Широкий, серебристо-белый пляж расстилается под растрепанными соснами дюн. В желто-багряных садах белые дачи. И совсем в стороне, на полуострове между рекой и морем, между камышами заводей и большим лесом, уводящим от дачных улиц в непроходимую глушь — маленькая дачка в запущенном саду. Внизу — несколько комнат, там живет какой-то зимогор, она его еще не видела. Наверху мезонин — ее комната и кухня. Удобно, светло, уютно и весело.

Весело простилась с вздыхавшей матерью. Весело упаковала книги, — вот теперь можно будет почитать, как следует. Только одно было больно: «Ласточка». Бедная, верная Ласточка! Без мачт, заваленная ящиками, мешками и всякой дрянью, «Ласточка» стояла в маленьком сарайчике. Яхты нужно было сдавать сразу, так же как автомобили — все средства к бегству от нашествия крыс. Но «Ласточки» она им не отдаст...

Баронесса колебалась сперва — не пробить ли ей дно и похоронить яхту посреди Двины? Но рука не поднималась. Пусть обреченность, пусть неизбежность, — а все таки упрямо, наперекор всякой логике — надежда, нет, даже не надежда, а уверенность, что ей придется еще выйти на ней в море. Нет, лучше спрятать. «Ласточка» вне всяких классов, «Ласточка» не записана в яхт-клуб, «Ласточку» не найдут...

Все это — за захлопнутой лакированной дверью. А впереди — широкое окно, распахнутое на солнце, и веселая рябина в саду. Надо сейчас же пойти нарвать веток со спутанными длинными каплями листьев, с пронзительной киноварью гроздьев, чтобы

и на столе, в высокой вазе, горела осень. А какое мягкое, легкое тепло в этом саду, — листья ласковые как солнце, и такие же золотые.

— Моя веселая рябина, осенний мой и горький хмель, — говорит баронесса вслух, протягивая руки. — Дай мне ветку! И еще! И еще — вот эту, самую красивую...

Но ветка высоко и ускользает из пальцев.

— Позвольте я помогу вам, баронесса, — раздался незнакомый голос.

Ветка уже сломана, оранжево-красные ягоды падают вниз, а баронесса все еще не протягивает к ней руки. Он слегка только подался вперед из-за куста, стоит, улыбаясь. Высокая грудь натянула серый шелк рубашки, над загорелым лбом широко откинута голова, пристальные глаза смеются от солнца.

Неожиданность сменяется недоумением: как молоточки по гамме подобранных ступенек детской колотилки — ксилофона — мысли бегут назад — за сколько то лет, в холле редакции, к низкому столику секретарши, у которого остановилась как то на ходу, среди звонков, цоканья машинок, газетного гама.

— Вы не знакомы? Это Цезарь.

Цезарь — конечно, она читала его статьи. И слышала. Он ушел из редакции, только присылал материал, сам появлялся редко. О его трагедии говорил тогда весь город. Молодой летчик, поэт и журналист. Молоденькая конторщица из их газеты. Роман и слишком веселая вечеринка у нее на квартире. Под утро она уселась на подоконник, свесив ноги вниз, пила и пела. Он стоял рядом. Она покачнулась и упала. Он успел схватить ее, но неловко, его рука сломалась и вывернулась. Девушка рухнула с шестого этажа.

«Вот до чего доводит пьянство», говорили все, качая головой. Кто же удержится от прописной морали — для других? Мораль или любовь — но у Цезаря сломалась не только рука. Он бросил все и поселился отшельником. Вопреки ожиданиям, с ума не сошел, а через несколько лет выпустил новую книгу, лучше первых. У жизни своя логика...

— Цезарь, — сказала баронесса и невольно протянула ему обе руки, — никогда в жизни не думала, что увижу вас, и именно здесь — теперь...

— А я никогда не думал, что женщина в синем платье может так напоминать заблудившуюся ласточку — ответил он совсем не в тон и прищурился немного. — И вам не кажется, что удивли-

тельно хорошо, что мы с вами встретились именно здесь, и именно теперь?

Падающая ветка рябины мягким толчком упала ей на руки, и баронесса впервые в жизни поняла, что держит на руках — счастье.



Как определить счастье? Для каждого может быть другим, но для всех будет одинаковым: счастливый человек растворяется, сливается с окружающим миром безо всяких других желаний, кроме того, чтобы это продолжалось. Всегда. Но оно никогда не продолжается слишком долго, и в этом тоже есть свой смысл.

Платон говорил, что человеческая душа, перед тем, как выйти в мир, рассекается на две половинки. Две половинки одной капли. Но они не одинаковы. Тысячи и миллионы половинок сталкиваются, и каждая ищет свою, единственную, с которой только может слиться. Найти ее — значит счастье, настоящая любовь. Поэтому счастье так редко. И бывает — иногда.

В осенний сад раскрывались белые окна. Солнце заливало стены. Над белой дачей летели дни и ночи, ветер доносил из-за леса сердитый шум моря, листья кружились и падали на ступени крыльца, по стеклам ползли мутные капли, в белой изразцовой печке извивалась и вспыхивала розоватая береста. И листья, и дни оставались на ступенях — из белой дачи не вело никаких дорог. Телефон молчал тоже. А двум людям за белыми окнами не нужно было никого. За порогом их ждала смерть, а с ними было счастье.

Каждая минута была так насыщена, что совершенно не оставалось времени подумать о чемнибудь другом. Никаких мыслей, и никаких желаний, кроме того, чтобы завтрашний день был такой же, как сегодня. А вместе с тем, пробивающаяся в улыбках, во взглядах, в поцелуях тревога обреченных.

Верная Мирдза, как и много лет подряд, приносила по утрам молоко, хлеб, и все остальное, что писалось ей на записке. Несколько раз Цезарь сам возобновлял запасы, отправляясь в большой магазин в центре взморского городка. Надевал старый жух и шапку с наушниками глубоко на глаза. Баронесса выбегала в сад — посмотреть, не возвращается ли уже. Но здесь ее никто не звал баронессой. Здесь была Ласточка, и такой непередаваемой нежностью звучало это слово, что за спиной, казалось действительно трепетали крылья.

«Белая яхта не шла — летела»... говорил Цезарь высоким голосом, и баронесса подхватывала строчки любимой поэмы Ахматовой: «У самого моря». Каким близким и совершенно своим казалось это ожидание у моря у колен вышивающей жемчугами искалеченной сестры, ожидание единственного, который должен придти. И приходит, чтоб умереть.

«Вынул моряк того, кто правил самой веселой, белой яхтой и положил на острые камни... Эти глаза, зеленее моря и кипарисов черных темнее, видела я, как они погасли... лучше бы мне родиться слепой! И умирая, сказал он чуть слышно: «Ласточка, ласточка, как мне больно...» верно, я птицей ему показалась...»

Баронесса вздрагивала — на ступенях белой дачи сухо шелестела погибшими листьями смерть. Но Цезарь отодвигал все обнимающей рукой, прижимал к груди, заглядывал в глаза.

— Весной мы полетим, Ласточка! Очень просто. Или на твоей яхточке, или удерем с рыбаками. Я уже твердо сговорился с Янисом, долго ли умеючи с ним до шведских берегов... Собственно говоря, я уже осенью собирался это сделать, но так вышло... и не жалею, что застрял! Нас здесь никто не найдет. А в Швеции у меня друзья, я там часто бывал корреспондентом от газет, говорю немного по шведски. Одну мою книгу выпустило стокгольмское издательство перед самой войной, гонорар лежит в шведском банке. Для начала нам хватит, а главное — свобода, понимаешь ли ты? Только тебе надо развязать твои крылышки, а то они у тебя спутаны. Почему ты не хочешь, чтобы я поговорил с твоим мужем? Теперь он согласится на развод, даже рад будет. И сам без греха и ты не помешаешь ему больше. Вот поеду завтра в город, и...

— Нет, — упрямо качала головой баронесса, — это мое дело, и я устрою сама. Поеду, объясню, и сразу же, как это называется теперь — в Загс. Три дня — и кончено. Мама поймет... мне только так не хочется ехать. Подумай — три дня без тебя. С ума сойду. Вдруг чтонибудь случится... нет уж, лучше вместе. Подождем еще немного. До весны далеко.

Ласковый, мягкий снег закутал дачку. В комнатах было тепло, топились печи, каждое утро Цезарь, весело насвистывая, рубил дрова. А снег все шел и шел, белая танцующая дымка заметала все следы и пороги.

В мягких, неслышных валенках подошло Рождество, дедмороз заглянул в Сочельник в синее окно, улыбнулся зеленой елочке и двум счастливым людям.

Уже сверкающий ледяной январь слепил глаза морозным солнцем, уже февральская каплея позванивала в полдень — уже планы бегства стали серьезнее и ближе, и баронесса звонила матери по телефону и сказала, что приедет на следующий день в город. Уже все было решено, продумано, ясно, и так легко, так неважно все остальное, уже...

Уже к белой даче были найдены следы.

Цезарь подошел к полке, чтобы снять книгу, и поднял руку. Баронесса сидела с ногами на тахте в любимой своей позе. На столе горела лампа под оранжевым абажуром, уютный звон маятника падал в ковер, как серебряный дождь.

Они вошли без стука — тихо, уверенно и спокойно открыли незапертую дверь и как то сразу заняли всю комнату: четверо энкаведистов. Короткие вопросы и ответ: имя, профессия, ордер — шелестели, как сухие листья. Вполголоса, неизбежная ненужность. Совершенно точно известно, к кому они пришли, и зачем.

Баронесса прижалась к подушкам тахты и не отрываясь, смотрела на Цезаря. Он так и остался стоять у полки, прислонившись к углу. Вынул портсигар, закурил. Курил медленно, глубоко затягиваясь не сводя с нее глаз. Пепел с папиросы сыпался на ковер — он не видел ни ковра, ни пепла.

Из рванувшихся ящиков письменного стола на пол летели бумаги, рукописи, разбирались, сваливались в кучу. Они работали спокойно, не торопясь, и Цезарь курил, зажигая одну папиросу от другой. «Револьвер»! — первая мысль, первое движение было притушено отчаянной мыслью, надеждой: может быть, если он дастся им спокойно в руки, они оставят ее?

— Почему? — спросила вдруг баронесса, угадав его мысль, качнувшись вперед.

Наклонившиеся над бумагами люди удивленно обернулись, но Цезарь чуть заметно покачал головой. «Нет, Ласточка, я не исполню своего обещания, не убью ни тебя, ни себя. Все таки, может быть»...

— Гражданка Веневитинова может остаться здесь — пока — заявил старший. — А вы — собирайтесь и притом поскорее...

Баронесса сжала зубы, хотела приподняться, но не смогла. Надо ведь собрать ему с собою вещи на дорогу — что? Все равно, они все отнимут потом.

Цезарь отшвырнул последнюю папиросу, щелкнул портсигаром и шагнул вперед. Поднял ее с тахты, посмотрел в глаза.



«Ласточка, ласточка, как мне больно...» — сказал или пошлось только? Руки скользнули с любимых широких плеч, теплый еще от ладони его тяжелый портсигар упал на колени и из неприкрытой двери в темную столовую легла клином тень. На крыльце звякнули стекла, за окном скрипнул снег.

Это все, и все осталось, как было: только на полу белели бумаги, а на ступенях крыльца темнели следы. Над белой дачкой лежало синее небо, на столе горела лампа под оранжевым абажуром, и серебряная капель маятника гулко падала в ночь.

Помилуй, Господи.



В кабинете Семена Яковлевича, стоял широкий письменный стол — точь в точь как в редакции. Но Семен Яковлевич стал теперь гораздо солиднее и старше. Он сделал блестящую карьеру. Он был начальником Центральной тюрьмы, первого этапа для арестованных — уцелевших после допросов.

Баронесса не видела его больше года. Она пришла прямо с взморского поезда, не заходя домой. По дороге был составлен новый план, сухие мысли перебивали одна другую, она судорожно старалась держаться прямо и слова звучали ровно, только, иногда вздрагивал голос.

Семену Яковлевичу было явно не по себе. Он никак не мог найти тона. Иногда возвышал голос, читал заученно официальное предписание, но сразу же срывался, разводил руками и пригнувшись к столу, шептал:

— Я понимаю, я тоже человек... Вы думаете, мне легко на таком месте, когда и матери и жены, и мужа?.. Мне уже эти просители снится начали, первая стадия сумасшествия! Чего вы все от меня хотите, когда я сам дрожу перед начальством, а свидания не разрешаются? Ну конечно, можно сделать исключение по старой дружбе, я не отказываюсь... А я и не знал, что вы уже незамужем. Веневитинов выступает теперь везде и всюду. Но этот ваш жених, будем говорить прямо, прошлое у него не хорошее, нет: и летчик, и офицер, и журналист — уже одного достаточно, а тут выбор, как на распродаже! Ну ясно, что надо придумать чтонибудь, если есть возможность. Конечно, нелегко, но попробовать можно...

Он откинулся в кресле и подумал.

— Германский консул сейчас очень нажимает из-за оставшихся немцев, и я думаю, что наши должны будут уступить.

Вы же знаете, вторая репатриация... Кто из немцев не уехал в первую, в прошлом году, удирает сейчас. Только теперь сложнее: комиссия, допросы. Но вы баронесса Керн. Ну, станете немкой — какая разница?

Он нагнулся ближе:

— И большая разница! Что вас здесь ждет? Между нами говоря, я даже удивляюсь — до сих пор уцелели... Конечно, это очень опасно, но какнибудь я вам дам записочку, чтобы вы успели обвенчаться... Он хороший человек, работал у нас в газете, я его знаю... настоящая вам пара. И признайтесь, вы его очень любите? Наверно, больше, чем вашего первого мужа, а?

Баронесса подняла голову, и несмотря на бессонную ночь, на тревогу и усталость, в глазах ее было такое счастье, что Семен Яковлевич потупился и смешался.

— Больше жизни, — твердо сказала она.

А что значила теперь — жизнь?



К консулу было уже поздно. Баронесса села на трамвай, доехала до набережной, и пешком пошла через мост, хотя могла бы ехать и дальше. Но ледяной ветер с Двины резал лицо, и это освежило. Сейчас она придет домой, выпьет чаю, согреется. Хорошо, если Веневитинов дома. Можно будет сразу начать разговор.

Дверь открыла мать, вскрикнула, всплеснула руками, обняла ее и заплакала почему то.

— Я так тебя ждала и беспокоилась, так волновалась. Подумай, какая неожиданность. Все было хорошо, и вдруг... Несколько раз звонила тебе сегодня по телефону, но не могла добиться соединения...

Второй раз за эти сутки баронесса почувствовала, как сердце гулко падает вниз и отнимаются ноги.

Но уже знала, уже чувствовала ответ:

— Веневитинов арестован сегодня ночью.



Прошлую ночь баронесса провела на тахте в белой, такой неизмеримо далекой теперь даче. Сидела, забившись в подушки, поглаживая пальцами последнее, что дал ей Цезарь — его портсигар.

Эту ночь она ходила по своей старой девичьей комнате, медленно, чуть согнувшись. Иногда останавливалась, вынимала из портсигара папиросы, которые купила почему то, и неумело закуривала. Дым щипал горло, но так казалось легче.

На столе лежала записка, оставленная мужем, только три слова:

«Спаси, ты можешь».

На столе стоял портрет отца в полной форме. Он был снят совсем молодым и казался не отцом, а старшим братом. Молодые глаза смотрели строго и молча отвечали на каждый вопрос. Но ответов было меньше, чем вопросов, потому что на все вопросы был только один ответ: «ты должна».

Баронесса Керн может уехать за границу, вырваться из этого ада. С нею может уехать муж — или, может быть, жених. Но один из двух. Если она выберет Цезаря, — надо поднять страшное дело о разводе с арестованным человеком, добить его, отнять последнюю надежду, предать. Самый страшный грех, самое позорное пятно.

«В нашем роду предателей не было», — говорят глаза отца. Долг ясен и прост, она должна спасти мужа, нелюбимого, ненужного и чужого. А если она увезет его — то Цезарь обречен.



Обрывки бессонных ночей, последняя встреча — туман, надо всем туман.

Она куда то ходила, что то говорила, терпеливо и деревянно. Даже не говорила, а отвечала, ровно столько сколько нужно. Подписывала бумаги. Женщине, убитой горем, жене, спасающей своего мужа, не задают лишних вопросов, ей прощают и странный вид, и деревянный тон.

Консульство, комиссии... Кругом волновались, сдерживали слезы — другие, ожидавшие своей очереди. Баронесса спокойно стояла с сухими глазами и мертвым, постаревшим лицом. Она не запомнила ни одного лица, ни одного часа из ожиданья этих дней.

Только одну минутку в кабинете Семена Яковлевича, куда пришла перед отъездом. Чужим голосом объяснила все. Семен Яковлевич не понял сразу, потом заторопился, позвонил по телефону, закивал головой.

— Баронесса, сейчас его приведут, как будто мне надо проверить бумаги. Какая трагедия... я рискую, я очень рискую. Только три минуты в моем присутствии, я отвернусь... но я не могу отказать вам — и у меня есть сердце. А для того, чтобы так поступить, это сердце надо вырвать, разве я не понимаю... Марья Михайловна бросила мужа, потому что у него был свой магазин, и его арестовали, и стала содержанкой одного товарища... Да, теперь я вас понял, баронесса, и теперь уже не скажу вам «может быть», — помните, тогда? Теперь я скажу просто: да, да! Что значит, если за всю жизнь ничего особенного, но когда это нужно, то это будет!? Ну вот, он уже идет, я слышу, и я ничего не вижу и не слышу больше!

Обернулась, сделала шаг навстречу, не поднимая рук. Только смотрела в упор, не отрываясь. Тот же. Похудел сильно, но плечи не согнулись еще. Глаза потемнели — или это кажется так?

— Цезарь, Веневитинова арестовали. Умолял спасти. Через германское консульство — как моего мужа. Уехать. Комиссия пропустила. Я не могла поступить иначе.

Цезарь вздрогнул, наклонил голову, поднял ее снова. Серые глаза смотрели на нее понимающе и ласково.

— Ты не могла иначе. Живи, Ласточка. Спасибо тебе — за все.

Шагнул вперед, обнял, но не поцеловал, а только коснулся холодных губ. Перекрестил широким крестом — и вышел.

Все.



Потом мать укладывала чемоданы, они ехали на вокзал, мать плакала, крестилась тоже. Купэ набито людьми, вагон мотало на стрелках, в темных и мокрых окнах отшатывалась родина, уходила любимый город, дорога на взморье, вся жизнь, все.

Через сутки на германской границе под проливным весенним дождем махали флагами на встречном пункте, разносили горячий жидкий кофе, к тюремному вагону, в котором ехали отдельно выпущенные из тюрьмы, бросились родственники. Оттуда выходили бледные, измученные люди, многие шатались от голода. И все плакали.

— Ну вот — здравствуй — сказала она. Без слез.



В конце 1944 года в Берлине русские рестораны «Тройка» и «Медведь» у Виттенберг-платца были уже давно разбиты. Но «Дон» в нескольких шагах от разгромленной Тауэзиенштрассе был местом неожиданных встреч. Беженцы из Балтики, Польши и Советского Союза, старые и новые эмигранты, в казачьих и немецких формах со значком РОА, в «цивильном» и просто в жутком виде сидели за столиками, заказывали на карточки жалкое подобие «гурьевской» каши, борщ и салаты, и никто не удивлялся, если с разных концов зала вдруг вставали и шли друг к другу с раскрытыми объятиями. Немецкие посетители давно уже привыкли, что русские имеют привычку вставать из гроба, и выражать это самым провинциальным образом.

— Вы ли это? Неужели?

— А вы какими судьбами? Ведь вас расстреляли большевики?

— Не совсем — улыбнулся высокий майор в форме летчика и с крестами на груди.

— Идите сюда, Цезарь, к моему столику, и рассказывайте. Когда я был арестован этой сволочью, то слышал, что вас замели тоже — еще бы! Мне удалось, слава Богу, вырваться, в это время шла вторая репатриация немцев, и жена сыграла на том, что она урожденная баронесса...

— Знаю.

— Но мне говорили, что все, кто оставался в Центральной тюрьме были переведены в Двинск и расстреляны во время отступления — как же вы спаслись?

— Я просидел полгода. Пытали — но мало, потому и выдержал. А наступление немцев было таким молниеносным, что сразу заварилась каша. Нас действительно начали переводить в другую тюрьму, но тут... несколько бежало. Вот и я.

— Мы попали сперва в провинцию, а потом мне удалось очень хорошо устроиться. Я — директор-режиссер передвижного театра. Большой частью балаган конечно, халтура, но иногда удается ставить хорошие миниатюры, и в материальном отношении тоже не плохо. Налеты вот только, куда не приедешь... но знаете, даже к ним привыкаешь.

— А... ваша жена?

— С женой у меня получился печальный парадокс. Со стороны может даже показаться смешным. Я никогда не был раньше в Германии, по немецки говорю довольно плохо, но

уживаюсь со всеми и чувствую себя недурно. Хоть и разгромленная, но все таки, знаете, Европа. А она с самого начала не могла, да просто и не хотела переключаться. Приехала, как на казнь. Тогда еще в нашем городе не было совсем налетов, жизнь кипела ключем, а она три месяца не выходила из комнаты. Сидит и смотрит в одну точку. Я уж с докторами советовался: нервное потрясение, повидимому, в связи с моим арестом и прочее. Затем решила вдруг развестись, представьте! И уехала на фронт сестрой милосердия... на восточном она была, последнее время в Риге опять... Вы не встречались?

— Нет. Я был на севере России.

— А она на юге. Только под конец в рижском лазарете. Я ждал, конечно, что она вернется со всеми, стольким рижанам удалось спастись, даже нигде не работавшим. И вот, представьте: Ригу взяли большевики месяц назад, тринадцатого октября. Мой знакомый редактор уезжал на машине накануне падения — Московский форштадт горел уже. Он встретил жену на улице, около моста, пришел в ужас и говорит ей: «Садитесь, что вы делаете, вы должны бежать, садитесь, я вас увезу!» А она отказалась наотрез. Тут же написала записку, пусть, мол, если встретит меня, то передаст — и ушла. Потом он пожалел, что просто силой не усадил ее. Говорят, что из рижан, оставшихся в городе, никто не уцелел. Всех, кто не был расстрелян сразу, отправили в концлагеря. Я никак не могу объяснить себе ее поступок. Может быть она хотела бежать с другими, и не успела просто? Или все время работала на передовых линиях, это повлияло на нее...

— Что же было... в этой записке?

Над бровями Цезаря легла резкая складка.

— Да вот она, читайте сами. Ношу с собой...

«Я не могу больше».



Чудесная, теплая, поздняя осень боролась с дымом пожаров и удушливой пылью взрывающихся зданий. Залпы срывали башни и осенние листья. Над дымным, истерзанным городом голубело небо.

Тринадцатое число было всегда счастливым для баронессы. Она самовольно ушла из лазарета, когда он начал спешно эвакуироваться. Домой. Опустевший серый домик мирно притулился в глубине разросшегося сада — уцелеет и сейчас, может быть.

В сарайчике под старым хламом до сих пор еще стояла «Ласточка». Баронесса с трудом вытаскала ее на полозьях, спустила на воду у мостков, поставила мачту. Белая лакировка облупилась, «Ласточка» рассохлась, давала сильную течь, но баронесса просто заткнула дыру тряпкой.

Продельвала все так, как привыкла за эти годы: спокойно и безразлично. Когда работала на фронте, под самым огнем, этим спокойствием восхищалась — в другой обстановке оно отпугивало бы. Но ей было все равно. Она провела под своей жизнью толстую черту и подвела итог: тридцать три года размеренной, скромной и тихой жизни. Потом катастрофа — и полгода настоящего счастья. Потом — несколько бессонных ночей, когда рушилось и сломалось все — не только вовне, но и внутри.

Не стоит задавать вопрос, правильно ли она поступила. Пусть решает, кто может — она не могла иначе.

Последние три года — расплата за все, провал, темнота, безразличие ко всему. Она похудела, постарела и больше всего походила теперь на высохшую старую деву. Разве можно узнать в ней сияющую Ласточку на белой даче? Да и некому узнавать.

Утром тринадцатого октября баронесса вышла на «Ласточке» на середину Двины. На воде яхта казалась сверкающей и белой, такой странной среди взорванных мостов и развалин. С берега по ней дали залп.

Ласточке не было больно...

## Письмо о березках

«Хозяину отеля «Траубе» в...

/...обыкновенные черные буквы, отстуканные на машинке. Такое же название, как Миттенвальд, Обераммергау, Берхтесгаден; все они похожи друг на друга, эти городки в Баварских Альпах; игрушка под горой, улегшейся как туча. Кто бывал, а кто видел на картинках только, но сразу вспомнит: эдельвейсы. Но кто бывал, вспомнит еще и другое: энцианы, самый синий цветок в мире...

...руки сползают с клавиш машинки, стали горячими и тяжелыми, как глаза, как буквы. Горы тоже тяжелые, но они иногда поют. Высоким и частым, режущим серебряным звоном. Говорят, что это гатер на дальней лесопилке в долине. Но тогда пели горы. Да и все пело. Вода, сбегаящая сбоку вдоль дороги, камни промыты до-бела, холодная, будто не снег стаял, а из самого сердца горы. И прозрачная такая, что если бы не звенела так, и рассмотреть ее нельзя было бы. И в синий вечер, позади розовой свечки колокольни, шлепают под мостом гномики в деревянных башмачках по этим камням, с озорной, подмывающей песенкой: клик-клик! И над отелем висит виноградная кисть вместо вывески, тяжелая и темная, как пиво с альпийским козлом на этикетке... надо же, чтобы в эту чинную игрушечность, в цветы, нарисованные на всех вещичках для туристов, в снег предвесенний — встрело такое, чужое всему этому, и слив-



шея с ним, совсем безграничное, пьяное, сумасшедшее счастье.../

### **Зер геертер Херр!**

/...Ну да, он был очень почтенным, хозяин гостиницы. Но вот бронзовый мастер со скрипкой перед церковью запомнился, а он нет. И его жена тоже почтенная, толстая. Они не особенно интересовались паспортами — номер на двух. На стенках что то зеленое и лиловато-пестрое, как вереск на стаявших проталинах возле горной хижины — там, гораздо выше, в горах. В хижине, в которой и дни и ночи были серебряными. Отель под виноградной кистью только начало и потом, напоследок... Милый, почтенный, хозяин виноградной гостиницы! Но надо все таки писать дальше.../

**«На прилагаемые к этому письму деньги прошу Вас снять фотографию с висящей в Вашей гостинице картины. Она изображает зимний пейзаж с березками, и висит.../**

/...невыносимо втыкать эти буквы. Воздуху бы проглотить, чтоб глаза не жгло так, чтобы не судорога эта в сердце... Березки висят, конечно, на старом месте. Может быть, уже пятьдесят лет, и еще будут висеть столько же. В фонарике пивной внизу, где стоит натертый дубовый стол. На кусочке стены — большая акварель под стеклом, в узкой серебряной рамке. Горы уже сбросили с себя рассвет, и он сползает ниже. Наверху в ключьях четко видна лиловатая верхушка, и кусочки светлого неба в тумане. А внизу снег на косогоре, задымленные инеем кусты, и на самом скате — три бедные, покривленные, с еле видными ветками, как ниточки — березки. И глубокие следы в снегу — мимо них. Кто то прошел вниз, мимо. Как же болит это сердце, выдержать невозможно... ну вот, лбом в машинку, она жесткая, никель ручки холодит висок... это ты сказал тогда, что кто-то прошел, и мне стало страшно. Всегда ведь с самого начала был страх, что каждую минуту может оборваться все, и вот так же мимо. Там, за этим столом, сказал первый — может быть, единственный раз: «да ведь люблю же я тебя!» И я знаю, что я постаралась, чтобы не дрожал голос когда ответила, что ты не говорил этого раньше. Ты спохватился, может быть, даже смутился немного, пожал плечами: «А вот теперь говорю». ... Боже мой, почему я не могла умереть тогда, когда была так счастлива, что могло от этого разорваться сердце? Хоть бы оно не болело так теперь, хоть бы письмо дописать... если бы чернила-

ми, то все было бы в кляксах, а на машинке переписывать не придется, ровные буквы у машинки... И тогда же я дала себе слово, что эти березки будут у меня. Хоть фотография. Я то их вижу все равно другими глазами. Не так, как это небо за окном, и голые конторские стенки. Небо в тучах, солнце давно уже закатилось... Как же было этим березкам удержать тебя, милый, если у них такие тоненькие ветки, и сами они мерзнут на косогоре, и ты... прошел мимо? Тогда мне казалось невероятным счастьем, что ты меня любил, а поверила я сразу. Теперь же, когда из года в год, каждый день, каждое утро, первая мысль и последний вопрос в темноту ночью: «за что, за что?» — теперь, когда все продумано, все истолковано, и каждая складка в твоих бровях разгадана, и эти скользящие на ходу, не задевая, скупые, казенные встречи, выхолощенные слова — когда я знаю, до самого конца знаю, что ты меня и не любил никогда по настоящему, и уж, конечно, теперь не будешь любить — никогда, никогда... все равно кричу же я свое «за что», зная, что ты не слышишь, и так много уже зная, и все таки — не веря? Смешно, неправда ли.

... Хорошо, что ты не прочтешь этого письма. Оно и не написано вовсе. Написаны вежливые немецкие строчки. «Зер геертер Херр» улыбнется, наверно, и с самодовольством будет его хранить. Все таки, реклама для его гостиницы. Он никогда не вспомнит среди сотен влюбленных пар — а он то их наверно умеет различать среди других туристов! — кому так понравился его зимний ландшафт. Может быть, он сам никогда и не видел как следует этих березок; нарисованы горы, снег — все в порядке. Может быть, только сейчас посмотрит на них и решит, что деньги художнику заплачены не зря, и будет гордиться. Пусть. Это его право. У меня не было никаких прав. Я знала с самого начала, что ты несвободен. Но — будем честны: я надеялась. Несмотря ни на что. Ах, Боже, какие гордые узлы разрубаются и распутываются иногда! И еще: ты говорил мне, что не любишь ее, но обязан. Я всегда понимала. Ну хорошо, ну пусть не судьба, и поздно встретились, — но за что же — совсем? Разве у тебя был когданибудь лучший друг, лучший товарищ, чем я? По мужски понимающий все, по женски прощающий — тоже все? И поддерживающий — всегда? И твою работу по анализу ты тоже начал, наконец — только при мне. А теперь она заглохла. Закончишь ли, зажжешь ли, как мы говорили, свечу —? Нет, не зажжешь. За что же так оттолкнуть, что даже не остаться друзьями? Конечно, это хлопотно, это значит, что надо подумать и о

другом человеке, а не только принимать то, что он дает, готовность всегда, во всем... за что?!/

/...и прошу прислать мне фотографию по прилагаемому адресу...»

/... Подпись и можно заклеить конверт. Коротенькое письмо. Если бы у меня были деньги, я купила бы эту картину. А может быть, и не выдержала бы — смотреть на нее, такую же самую, на какую смотрел и ты. Говорят, что можно справиться со всякой болью. Это мне тоже советуют все друзья. Интересно знать, отчего же тогда умирают и калечатся люди? Ну вот и хорошо, я устала... я так молилась, чтобы Бог снял с меня эту тяжесть, я не могу больше. А она не снимается. Может быть, немец не пришлет мне фотографии, не захочет возиться. Поехать туда самой — не могу, не выдержу. Господи, ну что ему стоит прислать мне мои березки? Плачу же я за них, и как плачу... самым дорогим, — и никому ненужным.../



### «Гнедиге Фрау!»

/... Письмо этой фрау — крестик, какие тяжелые имена! — лежит уже целую неделю, надо ответить. Я всегда говорил Рези, что надо завести машинку, так письма выглядят приличнее. Рези тогда тоже обратила внимание на нее, и еще решила, что она художница: так смотрела на зимний ладшафт, будто молилась. Рези всегда говорит, что художники не могут держать себя прилично. Но я сказал, что это просто влюбленная пара, и ничего особенного нет. Только Рези не знала, что я подумал. Я даже не подумал, а просто вспомнил почему то Марию. Когда она мне сказала, что я для нее единственный любимый. И не только тогда, на рассвете, у хижины в горах. Нет, совсем недавно еще, когда Зепп женился, и надо было пригласить на свадьбу и Альмхуберов тоже, все таки родня. Тогда у Марии были те же глаза, и тот же взгляд, как и двадцать пять лет тому назад. И я тоже стал как будто молодым, и снова шел по этому косогору, и снег был такой глубокий, а я шел и думал, что у меня рана в сердце, и я должен жениться на Рези, потому что она ждет от меня ребенка, и у ее отца хорошая гостиница... Все это молодость, конечно, в молодости мы все влюбляемся и делаем глупости. Я всегда считал, что поступил очень благоразумно и порядочно. Как же могло быть иначе, так не делается, чтобы наперекор всему и всем, а Мария тоже вышла замуж и

жила очень хорошо. Теперь она постарела, конечно, и я тоже не прежний, но когда вот этот ее взгляд на свадьбе Зеппа, совсем молодой, как рассвет в горах... наверно, она была очень несчастна. Даже немного приятно от мысли, что такая девушка как Мария, была несчастна всю жизнь из-за тебя. И я очень любил ее тогда, но Рези... может быть, я даже сделал глупость, иногда мне кажется так, но что прошло, то прошло. Рези всегда делала вид, что не знает, и она прекрасная хозяйка, а знать ей нечего. Это такие дела, о которых мужчина вспоминает один, особенно, когда ему уже за пятьдесят... Но вот взгляд Марии и у этой дамы — такой же. Потому я ее и запомнил, и когда прочел письмо, сразу сказал: это она! Только не сказал Рези, почему. Женщинам не надо всего знать. Но нужно писать дальше.../

**«К моему глубокому сожалению я не могу исполнить Вашей просьбы, потому что...»**

/... Ну вот, теперь надо объяснить. А как? Во-первых, правды нельзя написать. Это ее глубоко огорчит. Мы должны быть всегда любезны с нашими гостями, это главное. Во-вторых, она может сказать, что дело хозяина гостиницы принимать деньги и подавать, а не подсматривать за своими посетителями и вмешиваться в их личные дела, и много еще такого. Да, нельзя.../

**«... потому что картина была случайно повреждена...»**

/... Если у нее есть что нибудь в голове, то она поймет, что это глупости. Ну, как может быть повреждена картина, которая висит на стене уже двадцать лет? Пожара не было. Я не могу написать про пожар, потому что вдруг она придет сюда сама, и увидит, что все на месте. Правда, без ландшафта. И вот, будь у меня машинка, я не писал бы два раза подряд «потому что», а теперь придется зачеркивать и получается некрасивое письмо. Он тоже был два раза. Первый — с ней, а потом его ждала другая. Дама которая похожа взглядом на мою Марию, подходила лучше. На этот счет у меня есть глаз. Сколько я их перевидал, всяких парочек. Но Марий видал не так уж много. Вторая любила его тоже, это ясно, но не дело говорить, что она ждет уже здесь два часа своего мужа, а потом идти к Рези спрашивать ее, не бывал ли здесь муж с другой женщиной. Если ревнуешь, молчи, а с такими вопросами к хозяйну гостиницы не обращайся, нет. И все равно, понятно, что мы ничего не скажем. Да, мы его знаем, он бывал, заказывал пиво или вино, и платил, как полагается. Больше ничего. До чего глупы все таки женщины! Если написать, что когда он пришел, я нарочно встал

мыть стаканы за стойкой, и из-за своего угла все видел? Он нахмурился, понятно, никакой муж или не муж не любит, чтобы за ним по пивным бегали. А потом они пили пиво, и она говорила ему, семейная сцена с ревностью, обычная история. Слышать я конечно не мог, только видел, что он усмехнулся как то нехорошо, и на картину ей вдруг указал, может быть вспомнил другую — Марию. А эта вдруг разъярилась, вскочила, да пивной кружкой как запустил в картину! Ну уж тут, конечно, пришлось вмешаться. Кружка тяжелая, стекло разбилось, угол оторвался и все пивом залито, испорчено, потому что водяные краски. Рези всегда говорила, что картины маслом практичнее, и она конечно права. Надо отдать ему справедливость: может, это у него последние деньги были, но он выложил их на стол, а кружку разбитую уж я ему не присчитывал, хорошо, что за картину заплатил. Ночевать они не остались, и вообще больше не показывались, а картину пришлось снять. Рези снесла ее на чердак, а потом отдала кому-то. Хорошо еще, что посетителей при скандале не было. Да, потом мы еще выпили с ним по стаканчику энциана на прощанье, и когда он посмотрел на пустую уже стенку, опять улыбнулся как то криво, нехорошо это у него выходило, а сам ничего был.../

**«и присланные Вами деньги поэтому возвращаю...»**

/ Уф, тяжелое письмо. Будь иначе, я бы ей лучше картину продал. Ясно, что они разошлись — иначе за картиной вместе бы приехали. А так она хотела на память, понимаю. Да, хозяин гостиницы в таком городке, который славится на всю Европу, навидится всякого. Деньги ей пригодятся: пусть себе на них чтонибудь купит, а уж если не хочет практичного — то хоть бутылочку «Энциана», что ли — от него сердце не так болит.../

## Н е о б о й т и с ь

Ветер очень холодный. За высокими желтыми стенами громадного дома, на скате горы, он режет глаза и уши, ледяной струей пронизывает заливающее горы и долину солнце, как холодный ключ в теплом озере.

Но корпус дома стоит громадным квадратом и внутри его, на открытой во двор двухэтажной террасе во всю стену, ветра нет, он не может спуститься сюда, под полосатые маркизы, забраться в спальные мешки и толстые шерстяные одеяла, больных, лежащих на койках и в креслах.

Под скатом террасы разбит цветник, но сверху его не видно — только кусочек клумбы посреди двора: вороха прошлогодних елочных веток, закрывающих розы, несколько темных конусов, как ваньки-встаньки, вечно зеленой и вечно тусклой, мрачной туи, серая земля.

Напротив, через двор, привычные, изученные прямоугольники окон: ряды этажей, широкие пролеты лестницы, и громадное, в мелком переплете, двухэтажное окно врачебного кабинета. Сверху оно кажется голубоватым от отблеска солнечного неба, потом темнеет, а внизу белеет что-то: если приглядеться, можно даже различить фигуру в белом халате — докторша проверяет рентгеновские снимки, поднимая к свету темные четырехугольники.

— . . . косточки наши просматривает, — вздыхает больной на террасе, прищуриваясь на солнце, как будто ему отсюда тоже

будут видны эти туманные, беловатые и темноватые пятна, от которых зависит так много, да ведь, в сущности: все.

Он здесь уже старожил: скоро год. Сперва операция, потом медленное выздоровление, а теперь долгое ожидание: что дальше? Режим, рентген, температура, прогулки, обед, весы; температура меряется три раза в день, прогулка — это лежание на террасе (завернувшись до подбородка в одеяло, на нижнем ярусе у третьего столба направо) — завтрак, обед, чай, ужин — занятие, разнообразящее день, почти удовольствие, если бы только хотелось есть; рентген и весы — это проверка, пугающая всегда слегка — пугала бы больше, но не надо думать; кашель, чужой и свой, улыбки сестер, разговоры с соседями.

Надо всем этим, как режиссер, как верховный судья — докторша. Она непререкаемый авторитет: только она может позволить выписаться из больницы, и знает, когда настанет это время — а настанет ли? Иные выписывались, а потом через два месяца возвращались снова. Она знает человека насквозь, буквально «до мозга костей».

Но она не знает, что больной в девятнадцатой палате — старый полковник: и первая мировая, и гражданская, и Русский корпус в Югославии под конец вот, до этого ранения в легкие... что у него была большая, пестрая, интересная жизнь, любимая жена, вот теперь дочка только что уехала в Америку.

Нет, она ничего не знает, и этого не видно на рентгеновском снимке, зато ей видно другое: глаза больного. Грустные, отмеченные особой печатью глаза, смотрящие с тоской, надеждой, немым всегдашним вопросом. Эти глаза у всех больных. Они встречают ее во всех палатах, в коридорах, во врачебном кабинете. Они чуть блестят от лихорадки, иногда мутные и чуть липкие, как и все кажется липким в больнице, несмотря на натертые до блеска полы, светлые стены, чистоту. Но липнет неистребимый больничный запах — резкий от лекарств, сладковатый от больных, потных тел — и смерти.

Докторша работает давно. Пациенты меняются: больница остается. В самом начале своей работы она прочла страшную книгу Томаса Манна «Заколдованная гора». Политические, философские и литературные рассуждения героев на сотнях страниц были ей совсем непонятны: на медицинском факультете этого не проходило. Но засасывающая, особая атмосфера легочной санатории сразу стала понятной. Ей часто потом приходилось вспоминать Манна; она видела то, о чем он писал, каждый день.

Полковник не читал Томаса Манна. Философия всегда пугала его своей сложностью, от нее болела голова и становилось скучно. Но душевные провалы «Заколдованной горы» он переживал сам, — а это хуже, чем в книге. Книги вообще доставал, но с трудом; русские библиотеки в Западной Германии неохотно посылают книги в больницы, что и понятно. Книжных магазинов нет; да и мало теперь стало книг вообще, после второй мировой... то ли было раньше, у них в Югославии!

Он часто рассказывал о старых книгах соседу, тоже офицеру, но другой части: советскому капитану. Когда тот попал первый раз в больницу, то дичился, смотрел исподлобья, нервно хватался за термометр, и высчитывал дни: когда выйдет.

— Как в лагере здесь, — бормотал он, и уходил в себя, в беспокойные, тоскливые думы. Только бы выйти!

Он вышел, несмотря на совет докторши, слишком рано — и через два месяца вернулся снова.

Операцию не повторили, но началось нудное, медленное, с переменной надеждой лечение, и оно сломило его.

Он не рвался больше. Сперва молчал, потом, со скуки, стал больше интересоваться окружающими людьми, и часами вел с полковником разговоры, не всегда доверчиво, но внимательно прислушиваясь к его рассказам. Дошло даже до того, что, после долгих и хитроумных переговоров — хитроумных потому, что немецких слов у них обоих, сложенных вместе, не хватало для одного разговора — им удалось устроиться в той же палате на двоих, и на террасе они сами поставили рядом свои койки. Теперь, весной, можно было дольше лежать на террасе.

... Полковник оторвался от окна, за которым, по его мнению, докторша просматривала снимки, и перевел взгляд на небо. В защищенном со всех сторон солнечном прямоугольнике двора резкий горный ветер казался весенним.

— Снег сошел уже — видите, какие сухие плиты на дворе? — сказал он. — Фиалки, наверно... скоро Пасха. А на Пасху, знаете, без России не обойтись. Я вот как раз над этим думаю. Скажите по совести: есть ли у вас такой день в году, когда вы без Советского Союза не можете обойтись? Скажем, там, первое мая, или октябрьская революция, или смерть Ильича, день армии... что еще? Вот вы там родились, там выросли.

— Весна у нас другая, это точно.

— Я об одной весне не говорю. И о родине тоже. Родина, она, может быть, каждый день нужна. А вот читал я недавно в газете:



пишет одна журналистка о том, что, мол, надоели все эти пасхальные воспоминания о белоснежных скатертях, пора переменить пластинку и, вообще, почему-то у всех вдруг в прошлом оказались белоснежные скатерти. И тут я задумался, потому что чувствую, что она неправa, а в чем — сразу сказать не мог. Потом понял.

— Обмозговали, значит, — лениво тянет капитан. Тема интересует его мало, но почему не поговорить. Мать пекла, конечно, куличи на первое мая, и красила потихоньку яички, но это больше в детстве, потом редко приходилось бывать дома в эти дни, одни парады и демонстрации сколько времени для подготовки требовали . . . нет, без этого он с удовольствием обойдется. . .

Иногда заходили в церковь, в особенности уже здесь, в плену, потом в эмиграции. Хорошо вспоминалось в церкви — все о том же: свечка перед иконой, и мать, торопливый взмах руки — мать крестилась мелко-мелко, и его крестила . . . старая ракета у пруда — вербы наломал однажды у речки, охапку в церковь — Вербная суббота, сказала мать. Ледоход тогда еще был.

Давно не видел он ледохода, не слышал настоящего запаха талого снега, шумной, дружной, родной весны. «Белоснежные скатерти!» Что ж, а разве у них не было? Отца раскулачили, и дом их в деревне, под тесовой крышей, пошел под сельсовет, а они жили в пристройке к баньке, но и ту отец сложил из бревен так прочно, что она и советскую власть перестойт; и были у матери из приданого тканые шитым красным узором тонкие холщевые скатерти, которыми застилался стол на праздники, и везде, в самой бедной колхозной избе, и так, где приходилось бывать, у товарищей по полку, на заводе — нет, повсюду они были, эти праздничные столы. Но придет же в голову людям рассуждать в газете о скатертях!

. . . А почему? — слышит он снова голос полковника, — тот говорил дальше, но он задумался и не слушал, — почему это так? Вот я лежу, смотрю сейчас на эту стену, на небо над ней, а у меня, поверите ли, перед глазами картины проплывают, одна за другой, и насюющие, и то, что сам видел, все сливается в одно. Начиная с того, что «Грачи пролетели», вспомните: такие вот деревянные церковки, с которых великопостный звон слышится — вы то уж не слышали, а я вам скажу, что просто видно, как он застревает в сучьях деревьев, в весеннем небе, грачиной стаей разносится; и вот от этих проталинок, посеребривших льдин на реках и озерах, да распускающихся почек на тополях, до первой чере-

мухи, как боярышня в фате... Я, знаете, по части Рафаэлей не мастер, но вот Левитан, Маковский, Нестеров, Билибин, да сколько их! — уж до чего хорошо они Россию писали, и именно весной, когда у нас весна с Пасхой так сливается, что не разделить, не понять, что от чего: тут и природа, и сказка, и церковь, и история, — все вместе, неотделимо и радостно все.

— Немцы тоже яйца красят, а больше шоколадные, с зайцами, прячут в гнезда, чтобы дети искали — подает реплику капитан, неохотно, потому что сам тоже вспоминает картину: где, когда видел? В музее... Идут вечером боярышни из церкви, девушки с фатой, разодеты в парчу и бархат, в меха закутаны, и все свечечки в руке держат, в таких же голубых и розовых бумажках, как он однажды совсем маленьким видел. Очень его поразило тогда: на картине шли бояре — художнику захотелось парчей щегольнуть, а он помнит, как такие же свечи несли девчата в старых полшубках и платочках. На тысячу лет разницы хватит, а бумажки те же, и свет на лицах такой же...

— Еще я подумал, — доносится голос полковника, — как мы, мужчины, обязаны этим русской женщине. Празднуют теперь всякие женские дни, а об этом не вспомнят. А мы этого кусочка России никогда не сохранили бы так, если бы не они. И ведь где бы то ни было: не говорю уже о славянских странах, но в любой загранице, на Западе, в Америке, в Уругвае каком-нибудь, с кактусами и пальмами, где уж совсем не похоже, так нет же: не дай Бог, чтобы куличи сели! Любая. И спечет, и приберет, белую скатерть постелит, яйца покрасит, пасху творожную горкой сделает, свечку воткнет, цветок поставит, и как взглянешь на этот стол — что ж вы думаете, только чтобы выпить и закусить, обрадуешься? Нет, не только, это уже вторая мысль, а первая то будет все-таки: вот и праздник, и солнце, из России, будто за окном и вербочки и березки, и колоколенки и поля, и Христос Воскресе. Выразить не умею но чувствую, что именно так, и была у нас эта белая скатерть раньше, не права госпожа журналистка, у всех была своя, доподлинно, и есть у всех, и будет, благодарение Богу и дальше, потому что правильно говорю вам: нельзя на Пасху без России обойтись!

— А без Пасхи, по вашему, тоже нельзя?

Полковник открыл рот, чтобы сказать резкое слово, но снова закрыв его, поморгал ресницами, и одумался. Ну, что с него возьмешь, и что ему ответить, чтобы понял? Приподнялся на

локте, даже одеяло сдвинулось, но нашел, и наклонившись к лежащему рядом, в упор спросил:

— Вот вы обошлись, и как: лучше?

Откинулся назад с полным сознанием своей правоты, и почувствовал, что его снова лихорадит.

Капитан помолчал, обдумывая в свою очередь ответ. Казенные слова приелись, а своих не было. Снова вспомнил что-то и во рту стало горько, как от лекарства.

— Лучше или нет, а вот нам с вами в этой больнице придется обойтись без. Католическая Пасха через неделю, а наша неизвестно когда, ни к вам, ни ко мне никто не приходит, других земляков в наших палатах нет, похристосоваться будет не с кем.

— А мы с вами на что? — почти весело уже подмигнул полковник.

— Так я ж...

— Можно и со столбом! — уверенно сказал полковник, и повернулся на бок, чтобы задремать.

Солнце звенело и рассыпалось по террасе, сквозь закрытые веки дрожали какие-то зайчики, расцветала черемуха, мягко касалась лица верба, и покойная жена в расшитом жемчугом кошнике — или это Таня в Америке? — вносила пышный, румяный кулич со стекающими каплями глазури, как жемчужная поднизь, и алой бумажной розой, воткнутой в него вместе со свечкой. А за окном уходили в даль серозеленые билибинские поля и светлое, прозрачное небо, и гудели все московские колокола... «Воскресе из мертвых»...

\*\*\*

Умирили обычно в сто первой палате — маленькой комнатке в конце коридора; католический священник и лютеранский пастор хорошо знали туда дорогу.

Докторша иногда встречала их в коридоре — казалось, что ей, лучше знавшей больного, надо было сказать духовному врачу историю болезни. Но диагноз был один и тот же, и совершенно ясен, — а что пережил человек перед тем, как послать за священником — этого она не могла знать, большей частью.

В этот день у нее было ночное дежурство, и она вышла раньше из дома в городе, чтобы дойти до больницы пешком. Больница находилась за городом, почти уже в горах, последний кусок дороги шел лесом.

Докторша свернула на боковую тропинку и нагнулась, чтобы нарвать пролесков — крупных, лиловатых, как фиалки, хотя и

знала, что они не выдержат больничного запаха. Но они так заманчиво синели на темных прошлогодних листьях, и докторша подумала невольно, что весной всегда умирает больше больных. Именно весной, когда все оживает кругом, у всех вспыхивает надежда, даже у безнадежных — справедливо ли это?

Весной и осенью... но вот осенью эти листья облетели, они отцвели, высохли, не нужны больше, — понятно: круговорот жизни. Зимой слежались под снегом, а теперь мешают молодой поросли, пробивающейся сквозь них — и чего не вымел осенний ветер, подметет начисто весна...

— Надеяться надо до конца, — вслух повторила она привычную фразу и почему-то вспомнила о двух русских больных, так смешно коверкавших немецкие слова, и так благодаривших ее за все, что она проделывала по отношению к ним, и сотням других больных, совсем не испытывавших такой благодарности. Смешные люди! Ведь это ее обязанность. Наверно, много видели горя, и потом одинокие, иностранцы, все кругом чужое, сговориться толком не могут...

Пастор, медленно поднимавшийся на гору в своем автомобиле, затормозил и окликнул ее.

— Фрау доктор, вы еще не устали собирать цветы? Садитесь лучше — я сегодня опять к вам...

— О да, знаю... — кивнула она, садясь с ним рядом.

— Скажите, ваша милость, — начала она не совсем уверенно, — вы знаете русскую религию тоже? Нет, нет, умирающих русских не предвидится, оба выздоровеют — насколько я понимаю. Но вообще... они как-то иначе празднуют Пасху, я слышала. Сами они не могут мне объяснить, знаете, оба «никс гут».

— В восточной церкви, — сказал он, — совершенно изумительным, высочайшим лейт-мотивом проходит утверждение Воскресения Христа, воскресение души, вечной жизни, и это связано с воскресением природы, что в особенности понятно на севере, на их бескрайних просторах, и придает такую глубину, торжественность и радость их вере. Они это чувствуют сердцем — больше, чем мы, вероятно.

Пастор говорил долго, до конца дороги, и докторша думала, слушая его, что тот снимок, который он показывает сейчас ей, проникает гораздо глубже, чем ее аппарат. Да, не только одним лекарством может быть жив человек!

В воскресенье врачебного обхода не полагалось. Полковник вытащил после завтрака письмо Тани из ночного столика и снова принялся его перечитывать. Таня нарисовала на заголовке вербу и яичко, и писала, что послала ему воздушной почтой куличик и два яичка — шоколадное и красное, и пучек вербы — в их штате растет верба. Но посылка не пришла во время — Таня писала, что Пасха у них в это воскресенье.

Теперь он был рад, что не сказал об этом капитану, как хотел сразу, — тот стал бы еще отпускать замечания.

Полковник вздохнул и спрятал письмо в столик, — кто-то вошел в палату — сестра?

Нет, это была докторша, — что совсем не полагалось в воскресенье, и даже без сестры. Она подошла прямо к их кроватям, встала между ними и, сунув руки в карманы халата, улыбнулась сперва одному, потом другому.

— Христос Воскресе-се! — сказала она, и вспомнив еще что-то, поклонилась им в пояс. Потом, вынув разом обе руки из карманов, положила каждому на столик ослепительно голубое яйцо с пышным желтым бантом, и начала было быстро говорить что-то по немецки, но увидев, что по лицу полковника сперва медленно, а потом все быстрее покатались слезы, замахала руками, потрепала его по плечу и быстро вышла из комнаты.

— Что же это такое? — бормотал полковник, никак не справляясь с собой. — Христос Воскресе! Сказала. По русски сказала! Христос Воскресе! Что же это? Господи, за что же мне такая радость?

Капитан что-то хмыкнул, и вдруг широко шагнул от своей кровати к нему и раскрыл руки.

— Воистину Воскресе, полковник, вот что! — произнес он сдавленным голосом. — Нет, не обойдемся мы! Воистину!

## Звонок по телефону

Дождь. Узкие, холодные нити вытягиваются во всю длину, со всех сторон, справа, слева, бьют по стеклам с издевающимся злорадством, Где же вечерняя романтика и успокаивающее баюканье ноктюрнов? Улицы в взвихренной геометрии пересекающихся параллелей, фонари, витрины, освещенные окна домов мечутся в черных, блестящих лужах и что то кричат, только их не слышно . . .

В такую погоду хорошо только дома, в уюте тепла и цветов — хотя бы только вышитых на подушках и нарисованных на стенах. Да, дома . . . но дома — нет, остались только дома. Вот как этот — отдельный номер. Каждая вещь, как зеркало: в него смотрятся мимоходом и оно не сохраняет ничего из ненужных отражений.

Угол стола, например. Неудобное кресло рядом. Черная лакировка телефона. Сильно подкрашенные брови под рыжими локонами слишком тяжелы для усталых глаз. Вызывающая краска на губах кажется, мешает им улыбнуться, ласково и грустно. Это больше подходило бы к лицу. И к мыслям тоже. Мысли стучатся, как дождь, и в них тоже взвихренные параллели . . . Крохотные молоточки навязчиво отстукивают что-то, гамма поднимается и падает, как капли за окном, как . . .

. . . «Два-восемь, два-восемь, два!»

Она прекрасно знает, что это такое: телефонный номер. Она напевала его всегда про себя — тогда. Два-восемь — радостно.

Два-восемь — робко. Два! Как прыжок с замирающим сердцем. Этот номер был записан в уголочке записной книжки — как будто она могла забыть!.. Только номер, без имени. Но этот номер — о, она и тогда уже знала — она не забудет всю жизнь.

Вызывающая краска на губах оказалась бессильна. Губы улыгнулись — умоляюще и грустно. Пальцы протянулись к телефонной трубке и осторожно, как будто боясь разбить что-то, звякнули кружочками.

«Два-восемь... два-восемь... два!»

— Алло?

— Милый... это ты? Ты — дома? Это уже — половина счастья. Нет, нет, ради Бога, я не сошла с ума, я прошу только одну-две минуты, чтобы объяснить и тогда ты поймешь — милый, ради Бога! Если бы ты знал, что для меня значит одно уже сознание, что вот сейчас, на другом конце провода, ты держишь в руках такую же трубку и слышишь меня...

— Но позволь...

— Только одну минуту! Милый, дай мне объяснить тебе... Ты поймешь и, может быть, даже ответишь. Видишь ли, я здесь случайно, проездом. Но я так волнуюсь, выходит непонятно...

— Прежде всего — спокойствие.

— Да, ты всегда говорил так. Голос изменился немного, но... видишь ли, теперь, когда я знаю, что ты меня слушаешь, я могу говорить спокойно. Что же случилось? Ничего. Знаешь, иногда самое тяжелое именно в том, что ничего не случается. Я даже не приехала сюда, а просто проездом, завтра уезжаю снова. Чужой, пустой город. Впрочем, для меня теперь все города — чужие, и ты понимаешь, почему. Скука, одиночество, усталость. И все время эти мслоточки в ушах, стучат, как будто нашептывают что-то. Вот и подсказали — твой телефонный номер. Ты думаешь — я забыла? О нет. Слышишь — нет! Вот и позвонила тебе, как всегда, в нашем городе. Просто закрыла глаза и представила себе, как эта гамма побежит по проводам — в прошлое, на твою улицу, в твой дом, в твою комнату. И ты снимешь трубку и ответишь... Боже, как я боялась, что не... ты ответишь мне, а ктонибудь другой... другой. Ты меня слушаешь?

— Да.

— Милый, как я тебе благодарна за это! Ты не можешь себе представить, как тяжело молчать, всегда молчать. Знаешь, может быть и раньше я слишком много молчала. Может быть, ты даже и не знал, как я тебя люблю, как люблю... Помнишь,

ты всегда говорил мне: «Бедный Иорик!». Сколько раз я раскрывала Гамлета на этой странице и слышала твой голос... Может быть, если бы ты знал, как я тебя люблю, многое было бы иначе. И вот именно это я и хотела тебе сказать. Я тебя люблю! Только это, и ничего больше. Я любила тебя и тогда, и всегда, и теперь. Я ничего не забыла и часто вспоминаю, правда, не очень часто, но все таки, и каждый раз мне так больно, что ты этого не знаешь. И вот теперь, когда я сказала, мне стало легче. Видишь ли, если бы я могла хоть на могилу твою прийти.. Но ведь у меня и твоей могилы нету даже! Да, я знаю, что ты погиб — мне сказали об этом. Но меня не было около тебя, я тебя не видела, не слышала твоих последних слов, и вот иногда так хочется сказать тебе, и услышать хоть одно твое слово... Ты... ты не сердись? Ты теперь понимаешь меня, да? Я сейчас положу трубку и завтра уеду, и никогда — слышишь — никогда больше не вызову твоего номера. «Мгновения не повторяются» — ты любил говорить так. Но сейчас, на прощанье, действительно на прощанье — скажи мне чтонибудь, хоть чтонибудь, любимый мой!

— Бедный Иорик!

Рука с трубкой упала на стол. Женщина в кресле плакала, и слезы черными струйками разбегались из под накрашенных ресниц. Но губы улыбались — трепетно и нежно.

Сидевший за письменным столом в своем кабинете профессор прислушался еще с минуту, и медленно, как будто цепляясь за что-то, положил трубку.

Он не улыбался. Он подумал и повернул стоявшую перед ним на столе женскую фотографию в траурной рамке так, чтобы свет лучше падал на нее.

— Видишь ли — вполголоса произнес он — у нее был почти твой голос. А сколько раз ты спорила со мной, и доказывала, что современная техника только мешает свободе духа... Что же делали бы в наше время бедные души, если-бы они не могли — позвонить по телефону?



## Из за фиалок

Фима и Фея жили в одном и том же доме, выходившем на площадь с пятью углами. Дом и был одним из этих углов: позеленевшие стены, ржавая заплатанная черепица угловатой крыши. Наверху окна были сделаны очень большими, их наверно пробили недавно, и потому казались они светлыми и тоже заплатами, как и жезь в пряничной каемке черепиц; а внизу были шаткие изъеденные двери с разинутой львиной пастью на фронтоне.

Фею все звали так, сокращенно и ласково, хотя настоящее ее имя была Фелицита, и она мало чем походила на принцессу эльфов: глаза были только красивы, цвета затонувших фиалок, и руки. Такие руки должны быть у художников и нежно волнующих женщин в старинных усадьбах. Но Феина усадьба давно уже потонула в половодье революции, а сама она работала в переплетной мастерской и этим исчерпывались ее художественные наклонности.

В мастерскую уходила с утра. Там пахло разными сортами бумаги, миндальным клеем, тяжело повизгивали прессы, и с серого халата мастера, золотившего буквы, осыпалась, как с крыльшек моли, мельчайшая золотая пыль.

Фее давалась самая тонкая работа: она переплетала изящные томики стихов в сафьян и муаровый шелк, подбирала парчевые переплеты к сказкам, и обтягивала замшей громадные исторические тома. Она умела вышивать крышки книг бисером и вкрап-

ливать в них разноцветные инкрустации, прожигала бархат коричневыми буквами, выбивала медные уголки, и вообще гордилась своей работой. Красивая книга может дать много утешения, в особенности, если подняв от нее глаза, увидеть в узком высоком окне бесцветное небо и знать слишком хорошо, что когда оно потемнеет, то надо идти домой и кончить сегодняшней, и много еще завтрашних дней. Да, книга — это утешение всегда.

Дома был муж, низенький, толстый, в круглых больших очках, румяный и медлительный. Он служил бухгалтером, стройно выводил ряды цифр, а дома надевал аккуратный халат и такими же рядами перестраивал книги на своей любимой полке: увлекался историей искусств и слыл большим знатоком праерафэлитов.

В жизни проявлял иногда некоторую сентиментальность: — следил за тем, чтобы на зеленых надоевших столах у каждого служащего в дни именин появлялся завернутый в выгнутую бумагу вазон с дешевыми сезонными цветами, предпочтительно «со значением». По воскресеньям ходил в кинематограф, чаще на дневные сеансы, когда воздух чище и медленнее развертывают фильм.

Хозяйство вела сестра Фея. Она была моложе, современнее. Быливы до блеска кухоньку, усердно красила губы и уходила в университет. Училась больше из самолюбия, чем склонности, будущее свое строила на осторожном флирте.

В сущности Фея была довольна своею жизнью, и только изредка чувствовала, что ей чего то не хватает. Это ощущение надвигающейся пустоты, увлекающей куда то в стремительную бездну, стало чаще особенно с того времени, когда у них появился Дамиан.

Внизу под лестницей, окна нижней квартиры выходили в крохотную закутку двора, стиснутого старыми стенами. Там было всегда темно, сыро и пахло кошками.

Фима жила в одной комнате, другую сдавала, и когда за стенкой поднималась брань, грозно стучала метлой. Фима была большая, угловатая, толстая от накрученного поверх пальто синего передника, с жесткими, как расщепленное дерево, руками, и совершенно бесцветным плоским лицом. Сжатые в ниточку губы, белые брови, неукротимые буйные глаза точечками, намаленные ярмарочным художником дешевой лазурью.

Когда то Фима была замужем и муж называл ее Фимушкой, а чаще Фимкой. Он круто пил, больно бил и ругался, с остерве-

нением выдумывая новые слова. Фима не знала, где он теперь, втайне надеялась, что либо спился окончательно, либо в тюрьме. На расспросы огрызалась, делала все молчком, исподлобья: раз навсегда она сурово осудила жизнь.

Мести лестницу и выбоины узенького тротуара перед домом, на котором самое большое место занимал деревянный люк помойки с тонкой струйкой липкой грязи, просачивавшейся из под прижатого кольца, — доставляло Фиме некоторое удовольствие. Она любила эту работу и торжественно надевала зимой серые перчатки без кончиков пальцев, чтобы удобнее было держать метлу. Пятиугольная площадь была ее настоящим хозяйством, она знала ее наизусть, знала, какой уголок и когда освещает солнце, как меняется площадь от проходящих в разные часы людей.

Наверху в их доме жила переплетчица, видно, из бывших благородных людей; на лестнице как то остановилась, надевая перчатки, и Фима видела: руки такие бледные, как будто светятся в темноте. Каждое утро стучала каблучками, потом приходила на обед, уходила, возвращалась вечером. В сумерках ее лицо становилось старше, усталым и ровным, глаза скользили вокруг, не замечая, думала она наверно о каких то своих особенных вещах, ничемные такие мысли.

Сестра ее — фря, гордая девченка, губы мажет, как людоедка, ничем не лучше ресторанных девиц. Муж у этой наверху человек аккуратный и квартирка хорошая: Фима заходила к ним как то починить водопровод, она в доме за дворника, так видала: чисто, в столовой рояль и большая картина во всю стену, парк какой то: под краской холст виден.

Теперь Фима стала интересоваться всем, что делается в верхней квартире, потому что туда стал почти каждый день заходить Дамиан, а про него ей все нужно было знать.

Каждый мень, часов в пять утра, Фима приходила в ресторан, выходящий вторым углом на площадь: мыть посуду на кухне, вытирать мокрыми, пропахшими пивом тряпками черные от пепла лужицы на мраморных столиках, сметать в кучу окурки. Чистой публики здесь не бывало: больше в кепках и мятых шляпах, с небритой губой. Приезжали ночью и горланили до утра.

Фиме был хорошо знаком дым этот синий, винный перегар, мерзость и грязь ресторанный, пьяные слезы и песни. Только теперь приходила она раньше, и, поджав губы, становилась у стеклянной внутренней двери с тряпкой в руке, будто ожидая,

чтобы войти. За дверью, у черного пианино, сидел Дамиан, худенький такой и бледный, тоже наверно не сладко всю ночь барабанить.

Дамиан держал себя очень независимо: днем учился в консерватории, с вечера до утра играл в ресторане. Кроме того, занимался гимнастикой, чтобы беречь здоровье, идеально крахмалил сам себе белье, и тщательно разутюживал чуть ли не каждый день единственный приличный костюм, потому что иначе чувствовал себя погибшим человеком.

Ели бы его одеть в цветной фрак с кружевными манжетами и фуляровым платком вокруг шеи, то любой художник мог бы писать с него портрет маркиза тридцатых годов прошлого столетия. Но Дамиан ограничивался тем, что любил музыку, женщин, свою гордость и молодость, и твердо верил, что каждый день хорош, потому что может быть чудесным.

Кроме того, ему везло. Знакомый бухгалтер, живший напротив ресторана, любезно предоставил в его распоряжение старей, замечательно певучий Стейнвей, а жена бухгалтера с поэтическим именем Фея и всегда чуть затуманенными глазами умела чутко слушать. Дамиан часто играл с ней в четыре руки: она вторила мягко и бегло, приятно сливала с ним тон, и он любил смотреть на ее руки на клавишах — не руки, а перламутровая поэма.

У сестры ее только губы были яркими, а в остальном — бесцветный холодок. Дамиан относился к ней безразлично. С Феей же любил вести длинные разговоры, сумерничать. В ней нравилась какая то старинная хрупкость, и она читала много книг и давала ему ценные советы. В вопросах красоты Дамиан был очень строг и учился всему.

Когда часы отзванивали восемь, он быстро поднимался, застегивал ненужную пуговицу, и, картинно поцеловав руки, спускался по лестнице очень прямо и весело. Надо было перейти через площадь и сесть за разбитый отчаянный инструмент, который он презрительно называл «шкапа».

От предлагаемых рюмок Дамиан вежливо, но решительно отказывался — с него достаточно было одного запаха и обалделых, одеревяневших лиц. Под утро, когда всем становилось уже все равно, Дамиан позволял себе иногда увлекаться, варьируя заказанные ему мелодии так, что даже на этой «шкапе» они начинали звучать.

Вот таким слушала его Фима. Фима знала, что Дамиан — не фамилия, как думали многие, она посмотрела в святцы, и необычность звучного «Дамиан» вместо обыкновенного Демьян почему то смутило ее. Фима с болью заметила однажды оторвавшуюся пуговицу на манжете и чувствовала, что ему, такому разутюженному и чистенькому от этого неловко, а зашить, верно некому.

Фима жадно глотала с чужих губ все обрывки разговоров, в которых упоминалось его имя. Она не призналась бы в этом никому, конечно, да и сама не могла разобраться — почему ей вдруг так понравился этот красивый мальчишка? По годам он быть может ей в сыновья годится.

Но не в этом дело, и не в том, что он может быть и не видел никогда за стеклом двери приплюснутого носа, мокрой тряпки в руке. Не знал, что будет она перетирать чистеньким лоскутком от своего старого платья черно-белые лады инструмента потом уже, когда он уйдет; а если бы он вдруг остался и заговорил с нею, то о чем же, о Господи?! Разговоры — это с той, наверху, Фима видела, как они стояли у окна рядом; эта ему подстать, или какая другая, еще лучше.

Дело совсем в другом: в том, что Фима почувствовала вдруг однажды, что у нее расплываются губы в ласковой, умоляющей улыбке, и еле успев схватиться во время, огрызнулась на пошедшего кельнера.

— Ну, чего стоишь? Гони в шею этих пьяниц, наакались, свет на дворе уже. Красавчик может еще до полудня барабанить будет, а я стой и дожидайся.



Дамиан приходил по вечерам разговаривать, а по утрам, если ему надо было разучить какуюнибудь вещь. Фея в мастерской, муж в конторе. Сестра равнодушно прислушивалась из кухни к пассажирам. Так было и в этот день.

Придя на обед, Фея прошла в столовую и удивленно остановилась. В низенькой, молочно белой вазочке, служившей иногда пепельницей, рассыпался на широких круглых листьях букетик крупных, темнолиловых фиалок. Фея очень любила фиалки, и, пожалуй, больше всего эти осенние, такие большие и темные, без запаха, таинственные и сумрачные, как стихи. Кто их принес?

— Кто принес фиалки? — спросил муж, когда Фея прошла на кухню, чтобы вымыть руки. Он стоял там, внимательно следя за приготовлением горчицы.

— Фея, — быстро сказала сестра, — я сама видела.

Фея недоуменно взглянула на нее — она только что собиралась поблагодарить за фиалки сестру.

— Ты?! — удивленно спросил муж. Круглые стекла очков блеснули недоверчиво. Сестра чуть улыбнулась, опуская уголки накрашенных губ. Сестра никогда не покупала цветов, считая это старомодным. Муж подносил только в именинные дни. Больше никто не приходил, кроме Дамиана... неужели Дамиан принес ей фиалки?

— Ну да, я купила их еще вчера, у меня была мелочь, — быстро сказала Фея, слегка покраснев, и вышла из кухни.

Почему сестра не сказала сразу, что букетик принес Дамиан? Что же тут удивительного? Он так часто бывает у них в доме... внимание, любезность. но сестра солгала, и хотела, чтобы Фея поддержала ее — почему? Потому что этого не должен знать муж. Он может подумать, что... что именно?

Лиловый букетик на столе стал вдруг таинственным и волнующим. Какой милый! Сам принес, сам поставил в вазочку... потихоньку, чтобы доставить ей удовольствие. Себе, наверно, он отзывается во всем.

Обед прошел молча. Муж был деловит и сосредоточен, приглядываясь к чему то, Фея чувствовала себя виноватой. Почему не сказать правду? Но знала, что теперь уже не скажет. Пусть эти фиалки останутся такими же сумеречными и нежными, как их разговоры с Дамианом. Не для других, а только для себя.

Улыбку его она тоже бережет, вспоминает потом. оставшись одна, о ней — заразной, чуть лукавой и торжествующей — как будто вот и нет ей запрета, и не может быть, потому что каждый может брать то, что ему нужно. А как он подчеркнуто красиво целует руки! Может быть, когда они встретятся следующим раз, поцелуй будет более долгим?

— Я вам так благодарен, Фея, больше, чем вы можете себе это представить, — он не закончил фразы, уходя, — и может быть, теперь это недосказанное закончено — фиалками?

Фея поздно вышла замуж. Все надеялась, что придет кто то, красивый и смелый. Были увлечения, разочарования. Как то вдруг спохватилась, что больше ждать нечего. Четыре года замужества прошли незаметно — работа, книги, дом. Все это конечно

совсем не главное и не нужное, но за пустяками забывается о том, что уходит жизнь. С тех пор, как у них появился Дамиан, она вспоминала об этом чаще — слишком уж сияющей была его улыбка. А какой она должна быть для той, которую он любит!..

День давно уже кончился. Фея долго курила, смотрела, как темнели фиалки, пока не стали совсем черными. В комнате ходил дым, сливался с гаснувшим светом пасмурного дня, и все кругом, каждая мелочь, вплоть до Феиного серого платья казалось мягким, безнадежным, обволакивающим усталостью, от которой тухнут глаза и никнут плечи. Но ведь Фея может засмеяться еще, победно и ликующе и... дать поцеловать не только руки.

Выйдя на лестницу вместе с сестрой, Фея спохватилась:

— Почему ты сказала, что я принесла фиалки?

— А разве не ты?.. Что ты говоришь! Право, я была уверена... ого, Дамиан начинает не на шутку ухаживать.

— Что за глупости!

— Ты думаешь, что я ничего не вижу? Достаточно посмотреть, как он целует тебе руки. Настоящий маркиз! Поздравляю. Мне лично он не очень нравится. Замаринованный эстет. Но это в твоём вкусе. Помнишь, тот...

— Брось! Ничего подобного!

— Чего же ты тогда так волнуешься? Меня не проведешь, Фея, да ты и сама отлично знаешь, что это так...

— Я просто думаю, что Дамиан сам очень любит фиалки...

Они пошли дальше, не заметив Фимы, стоявшей под лестницей. Она только что взяла совок и метлу, чтобы идти на улицу.

«Фиалки», — повторила про себя Фима и снисходительно улыбнулась. Вот, то-же... словно баришня. Музыку играет и фиалки любит. Чудной.

Она вышла на порог, посмотрела вслед удаляющимся фигурам и принялась скрести тротуар.

Сейчас площадь красива. Сумерки закутали углы туманом, и в нем оранжевые огни фонарей. Люди проходят спокойно, неспеша. С женских плеч свешиваются меха, проплывают облаком дмух, солидным баском рокочут мужчины...

— Купите фиалочек! Фиалки хорошие!

С рынка возвращается торговка. В большой корзине смятые непроданные астры и ворох маленьких лиловых букетиков. Надо их сбыть поскорее, а то к завтрешнему дню завянут, ненадежный товар. Астрам ничего, их хоть щеткой причесывай, а эти — чуть что и завяли.

Фима слышит голос торговки еще с дальнего угла и хмурится. Что она, с ума сошла, что ли? Деньги на ветер кидать? Лучше уж ничему подать, хотя все они тунеядцы, обманщики.

Но когда торговка, безцельно покряхав, подходит ближе, Фима, сурово нахмутив брови, поднимает полу пальто, достает из кармана юбки толстый старый кошелек и долго роясь в нем, вынимает негнушимися пальцами серебряную монетку.

— На. Давай вот этот, что ли. Не пропадать же им.

Торговка удивленно смотрит на нее, и Фима чувствует, что краснеет до ушей.

— Проваливай дальше, тут тебе не базар, — ворчит она, и схватив метлу, втянув плечи, как от позорного дела, ныряет под лестницу. В руке зажат крохотный лиловый букетик. Фима смотрит на него под желтой мигающей лампочкой, и растопыривает пальцы, чтобы обержь, не смять.

Какие они жалостливые, цветочки, того и гляди раздавишь. Вот и душа у него такая же нежная, молоденькая совсем. Каждому игрушку хочется...

Фима высыпает на комод оторванные пуговицы, завалившиеся иголки. Они аккуратно хранятся в старой лампадке толстого вишневого стекла, со сломанной ножкой. Дырку она подклеила воском, а лампадку купила новую, белую, эта же стоит на комоду так, для чего придется.

Теперь Фима осторожно моет рубиновую лампадку, протирает кончиком передника круглые выбоины узора. Надо поскорее, чтобы там, в ресторане не заметили. Засмеют.

— Тряпку свою на струменте забыла, — ворчливо говорит Фима, оттопыривая одной рукой передник, а другой отстраняя кельнера, изогнувшегося у притолки — что, красавчик этот пришел уже?

— Сейчас придет, а ты не бросай тряпок. Он строгий.

— Знаю, знаю.

Фима боком подходит к пианино, смахивает невидимую тряпку, оглядываясь, вытаскивает из под передника лампадку с фиалками, ставит ее на крышку и отойдя на шаг, любуется. Вазочка хоть куда, так и светится. Ну, вот...

У стойки звенят стаканы. Фима шмыгает в дверь, сопя и краснея, и даже не бурчит на ходу, по привычке.

Фима не спит всю ночь, тяжело ворочаясь, прислушиваясь, как скрипит кровать и нудно стонет пьяный жилец за стеной.



Может грех — ставить в лампадку цветы? А иголки класть — не грех? А если кто видел, как она поставила, или Дамиан спрашивать начнет — и теперь все на кухне над ней зубы скалят? Ну, с ними то она рассчитается сразу. Понадобится, и в зубы даст. Разговор короткий.

А он играет, да нет-нет и взглянет, любит ведь эти самые фиалки. Вот и поймет, что не все только пьяные рыла крутом. Может быть, зайдет к ней поблагодарить... смешно даже. А вдруг? Сел бы вот здесь за стол, она постелит чистую скатерть, поставит самовар. И варенья есть одна баночка, для баловства сварила. Водки она не любит, ну ее, погань, и без нее то уж сейчас голова кружится, в груди дух захватывает. Господи, да она не будет знать, куда руки девать! Что сказать то ему? Слова у нее как метла — и скребут и дерут.

Очень вам благодарен Евфимия Ивановна, — скажет Дамиан, — напрасно старались, а я вот всю ночь играю и смотрю, смотрю и играю, и думаю — кто бы это? Не иначе, как вы. Давно вас заметил. Вы рабочий человек, я тоже. Греха тут нет, Евфимия Ивановна. У всех у нас тяжелая жизнь.

Тяжелая жизнь! Уж тут она ему все расскажет, все...

Вечером Фея вернулась из кинематографа. На экране смешно и мешковато одетая женщина, у которой муж больше всего интересовался жареной индейкой, странным сцеплением обстоятельств попала во дворец к настоящему принцу в маленьком немецком княжестве. Она надела парижское платье, сразу расцвела и похорошела, ужинала с принцем за одним столом, а потом, утром, ушла от него опять — в прежнюю жизнь.

Артистка не была особенно красива, но Фею поразили ее глаза — взгляд, уходя — глаза человека, прощающегося со сказкой. Она уходила молча, и от этого молчания хотелось закричать.

Как всегда после кино, Фее казалось, что на нее самое смотрят тысячи глаз. Она легко двигалась, и сама залюбовалась своими руками, быстро переставлявшими на столе посуду и острожно приласкавшими низенькую вазочку с лиловым букетом.

Сидевший напротив муж внимательно посмотрел на нее.

— Так, значит, ты купила эти фиалки, Фея? — спросил он, усмехаясь слегка.

— Да, конечно, почему ты спрашиваешь? — Фея старалась, чтобы ее голос звучал ровнее.

— Потому что я сам купил их по дороге из бюро. Ты что то грустишь последнее время, и мне хотелось обрадовать тебя. Почему ты солгала, Фея?



Ночью Фея осторожно плакала в темноте, делая вид, что курит. Слезы падали непрерывно и устало, и она ровно переводила дыхание, чтобы не заметил муж.

Как могла она подумать, что Дамиан?.. О да, он очень ценит ее, как друга — но ведь друзьям не приносят фиалок, не делают волнующих намеков. Маленькая ложь, наполнившая ее всю еще не обманутым ожиданием, показалась Фее вдруг большим, потерянным счастьем.

Человек всегда надеется на то, что еще может, должно случиться — пока вдруг маленький пустяк — такой вот непринесенный букетик фиалок беспощадно покажет, что больше нечего ждать, что жизнь уже прошла, и нужно как то доживать, примирившись с последней потерей. В жизни должно быть счастье у каждого — но у многих его не бывает никогда.

Пьяная компания засиделась до утра. В шесть часов совсем рассвело. Желтые, как пиво, лица, желтые столы, желтые даже клавиши, синий дым. Под глазами у Дамиана темные круги, он встает, наконец, чуть заметно потягивается, хрустя пальцами. Скорее домой, под холодный душ и спать. Потом опять душ, гимнастика, и тогда он встретится с Эллен.

— Волга, Волга... доносилось с улицы, гудели еще желтыми голосами последние гости. Складывая ноты, Дамиан чуть не опрокинул нелепой красной вазочки, оказавшейся вдруг на крышке пианино. Кто ее сюда поставил? В тусклом красном стекле наполовину свернувшиеся фиалки, дымные и тоже не спавшие всю ночь. Дамиан улыбнулся чему-то и пошел к выходу. На ступеньках остановился, зажмурившись. Из-за острой крышки дома выплыло солнце.

— Букетик свой изволили забыть. Это вам преподнесли-с — хихикнул кельнер, присюсюкивая по старинке, и догнав его, сунул серо-лиловый комочек. Дамиан удивленно приподнял брови, брезгливо взял его, повертел в пальцах мокрые свисающие стебельки, огляделся. Рядом стояла, уставившись на него, толстая смешная баба, подметающая улицу. Он часто встречал ее и иногда удивлялся: чем может жить вот такой человек? А ведь эти голубые точки на белесом лице тоже смотрят на солнце. может быть, думают что нибудь.

Дамиан повернулся и услужливо бросил букетик в большой серый совок из заплыванной грязью жести. Пусть она не подбирает его с улицы, по крайней мере, ей тоже облегчение. Ему показалось, что он сделал доброе дело, и он улыбаясь, пошел по улице, щурясь на солнце.

В этот день он сам купил букетик фиалок — больших, темно-лиловых и очень нежных. Эллен хотела приколоть их, но потом раздумала и оставила на столе.

— Я люблю фиалки, но только парижские, знаешь, из шелка. Их можно надушить, по крайней мере, а то эти почти не пахнут, особенно осенью, так быстро вянут.

У Эллен были золотистые волосы, нежный румянец и мелкие зубы в подкрашенном сердечке рта. Дамиан осторожно подал ей накидку, отороченную пушистыми лисами. Он не мог купить ей шелковых парижских фиалок. Он очень любил ее, и думал, что она поймет, и это было очень больно.

## Казачья невеста

Привычка рано просыпаться осталась у Луизы, но помечтать в кровати — наслаждение. Да, больше не надо вскакивать в шесть часов по будильнику и разрываться на все стороны под сужим, пристальным взглядом фрау Шпрехт. Три года в этом вылощенном скучном доме, где каждый кусок сахара отсчитывался в сахарницу и запирался на ключ! Фрау Шпрехт иногда являлась кошмаром во сне: сухой, острый нос и колючие пальцы.

Нет, теперь Луиза не горничная даже, а экономка, и у дипломатов. О да, между маленьким заморышем — Лизхен, — провинциальной невинностью, вечно голодной и с красными руками, явившейся из Маркт-Швабена под Мюнхеном в Берлин «прислугой за все», — и фрейлейн Луизой теперь разница не только в пятнадцать лет!

Луиза вскакивает, швыряет одеяло и очень тщательно принимается за туалет. У нее стройная фигура, свежая кожа, вздернутый нос, подбородок решителен и упрям. Черное платье из хорошей материи обтягивает грудь, а передник она наденет только, когда сойдет вниз. «Вниз» — это несколько этажей широкой лестницы в коврах, лучшего отеля в Берлине. Два года она вела хозяйство шефу иностранного бюро печати на его вилле в Ваннзее; но теперь вилла сторела во время налетов, и они перебрались сюда.

Девять часов — надо приготовить завтрак. Шеф, еще кутаясь в халат, прошел в бюро и включил радио. Бюро служит и общей комнатой — они занимают весь этаж. После обеда, когда нет посторонних, можно усесться с починкой белья в кресло и слушать заграничное радио. Шеф ничего не имеет против и часто разговаривает с ней. Синьора Франчетта — итальянская журналистка — угощает ее сигаретами, хотя Луиза не курит, а прячет про запас. Или эта русская дама, Демина. Но с ней у Луизы совсем особые отношения.

Демина приходит каждый день на несколько часов, дает уроки русского языка шефу и слушает для него московское радио. Луиза незаметно для других подсовывает ей под блюдечко сигаретку, и всегда следит, чтобы у нее была чашка крепкого, хорошего кофе. Надо же доставить удовольствие человеку: ей так плохо живется.

Да, это не совсем обычные отношения. Демина интеллигентная женщина, не чета ей, — как там ни верти, а все таки экономке. Она тоже служащая, но у нее прекрасные манеры и меховая накидка, которую Луизе не купить и на годовое жалованье, а носит она ее так, как носят настоящие дамы — не заботясь о ее цене. У нее некрасивый, но очень симпатичный муж. Когда Луиза приходит к ним, он встает, здороваясь с нею — настоящий аристократ! Если рассказать сестре в Маркт-Швабене, какое у нее знакомство! И фрау Шпрехт не поверила бы, что она, Луиза, может просто придти к таким людям без приглашения и сказать: «Вот, фрау Нина, парочка форелей на ужин — сегодня достала у нас в отеле, надо же побаловать вашего мужа».

У них убогая квартирка во дворе и слишком уж несложное хозяйство разоренных войной беженцев, второразрядных иностранцев. Шеф Луизы — привилегированный, ему прощаются причуды и выходки; «остовки» на отельной кухне — крепко сколоченные девки: их только жаль, особенно «Валью». Она напоминает чем то далекую Лизхен из Маркт-Швабена, и Луиза старается подкинуть им тоже чегонибудь. Ничего, отшлифуются и эти.

А вот такие, как Демины — это на середине лестницы. С одной стороны — благородное общество, с другой — жизнь, которой не позавидует жена чернорабочего: у той кастрюль и белья раз в десять больше.



— Мой сервиз, — улыбнулась Демина, пригоставливая кофе, принесенное Луизой, — не совсем Розенталь, но пить из него можно, а это главное!

Луиза смотрит на знакомые разномастные чашечки с тарелочками вместо блюдец, и находит в них особое очарование, не понимая, почему ей так нравится, что хозяйка не стесняется своей бедности, и не прячет ее судорожно, как сделала бы немка. Именно в этой небрежности, по мнению Луизы, и проявляется широта русской натуры: это удивляет и притягивает.

— Непременно хочу брать у вас уроки русского языка, фрау Нина. А то я только и знаю, что — «пожалста» и «карашо». Майор говорил, что теперь образуется целая армия из русских: казаки и генерал Фласофф. Кто знает, в жизни случаются разные вещи...

Луиза начинает говорить задумчиво. Но как только мечте даны слова, она не может удержаться больше. Плотно, как боровик, усаживается в кресле, хлопает руками по локотникам, и в голубых глазах загорается дикая энергия.

— Вы знаете, фрау Нина, я часто ходила на лекции о России. Конечно, мне не все было понятно. Я кончила только деревенскую школу, все время работала, как вол. Вы знаете, что значит быть одной прислугой? Откуда вам знать! Вставала в шесть, ложились в двенадцать. Но зато я посмотрела, как живут другие, и сказала себе: «Луиза, батрачить можно было и в Маркт-Швабене. Если у тебя голова набита не навозом, то ты добьешься чегонибудь. Надо только сжать зубы и кулаки...»

И Луиза выбилась. Она рассказывает всю свою жизнь. Через три года уже она была кокетливой, расторопной горничной, и перешла на другое место получше.

— Вот это была моя цель, фрау Нина: стать экономкой в приличном доме, лучше всего у одинокого дипломата, скопить себе приданое и выйти замуж. Вы не знаете, как трудно рабочей девушке найти себе мужа. Я, не говорю, конечно, о Францеле: таких много. Я очень долго держалась, но он тоже из под Мюнхена, земляк, и встретила я с ним за границей. Да, побывала в Швейцарии, служила там пять лет у одной англичанки, прекрасное место! Я всегда копила и откладывала. У меня в сберегательной кассе есть две тысячи марок, и потом вещи. Я покупала все, что нужно, для собственного хозяйства и посылала

сестре на хранение. Конечно, мебели нельзя было приобрести: она потрескается, но зато — все столовое и постельное белье, одеяла, кухонную посуду, сервиз, вазочки, утюг...

Луиза прищуривается от удовольствия, загибая пальцы при подсчитывании своих богатств.

— Когда я приехала к сестре посмотреть, нет ли плесени в ящиках, она мне сказала: «Я бы тоже могла пользоваться, все равно лежит у тебя без дела». Но нет, не дешево доставалось. Ведь так легко потратить деньги, когда живешь в большом городе. Я тоже не монашка, но всегда спорила с Францлем. Францль — говорила я ему, — ты тоже зарабатываешь, будем копить вместе. Через два года ты сможешь купить полный гарнитур для спальни, а я кухонную мебель и диван. Тогда мы сможем пожениться, взять квартиру, и иметь ребенка. Я не хочу кучи детей, но одного или двух. И свой дом, фрау Нина, понимаете?

Глаза Луизы сияют мечтой, и Деминой кажется, что она тоже видит ее глазами: уютная квартирка, веселые мальчишки — у Луизы непременно должно быть сыновья, — возвращающийся вечером с работы муж, — весь этот мелкий, но от того, что он выстрадан — ставший большим смыслом жизни, мирок.

— Что же Францль? — спрашивает она, хоть чувствует, что этого вопроса не стоило бы задавать.

— Ах, Францль! — Луиза жестко сжимает губы и передергивает плечами.

— Я же говорю — первое увлечение. Для иной это, может быть обошлось бы еще дороже, но мне стоило тысячу марок. Конечно, сперва было очень тяжело, но я удержалась все таки, и не бросила работу, как он меня ни уговаривал... В романах читаешь о любви. В молодости я тоже верила этому. О да, я и теперь еще молода, мне всего тридцать лет, я здоровая женщина, и, особенно теперь во время войны, всегда находится ктонибудь... Один майор постоянно приезжает в штаб, и останавливается у нас в отеле. Очень интересно рассказывает, и любит выпить. Ну, и лишняя сотня марок тоже не мешает, не правда ли? На то, что он мне подарил прошлый раз, я купила занавески для моей будущей спальни: тюлевые, а рисунок — розы, и кругом полосочки...

Она смотрит на хозяйку с таким наивным самодовольством, что той делается просто смешно. Интересно, как это в Луизе все уживается вместе: трезвый романтизм.

— Помимо всего, фрау Нина, мы живем под налетами, не правда ли? То, что упустишь сегодня, завтра можно и не наверстать. Но это все не настоящее. Я читала, что Россия — огромная, очень богатая страна, и там неограниченные возможности. А раз они убили всю аристократию, то не слишком разбираются в обществе. У нас я могу рассчитывать на унтер-офицера, скажем, а там — лейтенанта даже. Как вы думаете? Только вот эти большевики... Но мы победим, конечно, и тогда я еду в Россию. Или, раз здесь теперь организовывается эта армия, может быть, я найду когонибудь... Фрау Нина, найдите мне мужа! Мне не нужно, чтобы он был красив и молод. Пусть это будет солидный, хороший человек, которому тоже хочется иметь хорошую жену. Я выучусь говорить по русски, буду варить ему ваш кислый суп, этот «боршт», и буду пить с ним водку...

Демина ободряюще улыбается. Интересно знать, какая бы адская смесь получилась из этого?!



— Хватит у тебя пирогов? — спросил Демин, просовывая голову в кухню. Позади него на лестнице громыхали шаги, и в крохотной передней нельзя было повернуться.

— Привел соотечественников. Донцы. Есаул Каменский, сотник Павлиценко и хорунжий...

— Ваня — широко блеснули зубы в улыбке.

— И хорунжий Ваня, — докончил Демин, слегка улыбаясь.

— Понимаешь, Нина, выздоравливают в Потсдамском лазарете. Ну, как не угостить пирогом?

— Мы постараемся тоже принести чегонибудь в следующий раз — уверяет сотник, трясая руку, — а то вы ведь на карточки живете. Но консервы у нас есть, а вот пироги — это действительно соблазн. Ваш муж говорил, вы казачка?

— Да, отец командовал полком в Новочеркасске... Только я давно уже с Дона...

— А мы — недавно! — сияет Ваня. Он веселый и неуклюжий. У сотника — медное, обветренное лицо и твердые глаза. Есаул — самый старший и ничем не замечателен: невысокого роста, пристальный взгляд, резкие складки у губ. Серо-зеленые мундиры плотно обтягивают плечи, блестят сапоги. Новенькие ремни с кобурами укладываются на столик в передней и тут же замшевые перчатки. Они снимают их тщательно, перчатки — это вещь, особенно для хорунжего Вани.



Это не первые донцы и кубанцы, приходящие к Деминым в немецкой форме. Создаются полки и станицы в Берлине, штабы и армии, трагическая феерия РОА, над которой молитвенно развевается русский флаг. Но при встречах с молодыми хочется верить в победу, несмотря ни на что. А оттого, что их завтра, может быть, пошлют на фронт — становится жаль, и хочется приласкать.

Пирог удался, хотя тесто совсем серое от плохой муки. Вместо чая пьют темную воду — пиво. Рассказывают. Увереннее других чувствует себя есаул.

— Я среди наших — самый старший. Мальчишкой еще был у Деникина.

— Как же вы там уцелели?

— Скрывался. Переменял имя, работал грузчиком, потом попался, и как: встретил дочь бывшего полкового священника, обрадовался, разговорились... а потом следователь в НКВД сказал мне, что не стоит, мол отпираться, если со старыми знакомыми встречаюсь... суток пять допрашивал — на стуле. Отделался лагерем, на восемь лет. Если бы перед этим грузчиком не работал — не выжил бы... Потом снова закатали бы в лагерь, но помогла мобилизация, фронт. Понятно — перешел к немцам. За родину воевать можно только против Сталина. Но вышло — зря, поторопились мы: сколько миллионов бросило оружие, а сколько осталось в живых из них? Вот РОА только и спасла.

Просто рассказывается жизнь. Какая жизнь!

Когда раздастся звонок и вбегает, деловито стуча каблучками, Луиза, Демина еще не может освободиться от тяжести мыслей.

— Разрешите познакомиться — мишинально произносит она, поводя рукой: — Лейтенант — капитан... капитан, ах нет, господин майор, простите. Фрейлен Луиза, — моя... коллега по бюро печати.

И только когда сияющая Луиза усаживается на кровать, служащую и диваном, между тихим сотником и есаулом Каменским, когда ее мгновенно вспыхнувшая предприимчивость, «ухватить момент», и польщенность сверх меры от слова «коллега», вместе с кокетливой скромностью и желанием блеснуть, смешивается в фейерверк улыбок и взглядов, «пожалоста» и «карашо», — тогда только Демина понимает, что она наделала.

И погубила Луизу.



Вначале это было забавно. Донцы часто заходили посидеть. При этом появлялась Луиза с таинственным видом и сумкой, набитой всякими деликатесами. Забавны были ее новые словечки и невероятный волапюк, на котором она объяснялась с есаулом. После второй встречи избранник стал ясен: «херр майор Вольдемар фон Каменски». Луиза расспросила его, узнала, что он — офицер старой русской армии и дворянин. К Ване и тихому сотнику она относилась по матерински, но Вольдемар — о! о!

Есаул поправился от ранения, скоро на фронт: конечно, он не имел ничего против интрижки со свеженькой немкой. Конечно, он обещал ей жениться — когда кончится война, или даже еще раньше. Ей приятно называть себя «Браут» — а ему решительно все равно, «невеста» она, или нет. Хочет быть «Казакенбраут» — пусть будет. «Казакенбраут» стали ее называть все.

Прощание было трогательным. Условились о встрече на Рождество, провожали на вокзале, махая платками. Луиза улыбалась сквозь слезы и расцеловала всех трех.

Настоящий серьезный разговор был три недели спустя, когда она написала уже две открытки и два письма, высчитала все сроки для ответа, а от Вольдемара все еще ничего не было. Луиза являлась с синяками под глазами, побледневшая, молча протягивала Деминой сигареты, плотно усаживалась в кресло, и начинала:

— Скажите, фрау Нина, почему он не пишет? Я говорила: большое письмо трудно писать, лучше открытки. Фельдпост идет недели три, не больше. Сегодня я видела во сне, что ко мне приходит почтальон и приносит большую луковицу. Как вы думаете, это к письму?

— Видно, что вы потеряли свое сердечко, Луиза, — пыталась отшутиться Демина, которой уже надоело возиться с «Казакенбраут». — Надо только подождать...

— Сердце, фрау Нина, это еще ничего. Тут дело серьезное. Мы уже обо всем переговорили...

Демина подавляет улыбку, представляя себе «разговор». Луиза тараторила без умолку, дав полную волю своим заветным мечтам, а есаул попыхивал сигареткой, и время от времени хмыкал: «гут, натурлих».

— Я не девочка, фрау Нина, и любовь, это все хорошо, но надо практически подходить к жизни. Мой Вольдемар как раз

в таком солидном возрасте, когда надо заводить семью. Конечно, русских девушек тоже достаточно. Но я посмотрела на них — они ничего не умеют. Нет, Вольдемару нужна такая жена, которая его еще научит! Надо, например, подумать, что будет после войны. Не все смогут остаться в армии. Но для майора — а может быть, он будет тогда уже полковником — всегда найдется место в конной полиции, например, там у него будет форма и лошадь, раз казак не может быть без лошади. Я думаю, что когда у нас будут дети, то мальчики так сразу и родятся на деревянных лошадках!

Демина думает, что представить себе есаула рядом с вазочками Луизы — все равно, что корову в седле. Но Луиза постарается надеть на него и не такой хомут!

— Вначале он будет брыкаться, я думаю, — говорит она, найдя, наконец, самое мягкое выражение, — к семейной жизни тоже ведь надо привыкнуть.

— О, я умею обращаться с мужчинами. Иногда он мне кажется просто большим ребенком. Я уже просила его сделать все бумаги. Фрау фон Каменски! Фрау «фон» и муж — майор! Ах, фрау Нина, я буду такой счастливой! Но почему он не пишет?!!

Все таки, есаул написал ей открытку, путая русские слова с немецкими. Луиза выучила ее наизусть. Она посылала ему сигареты и печенье в аккуратных коробочках, и писала каждую неделю. Получила еще открытку, но и только. Потом месяц молчания... два. Три.

Луиза перестала писать, даже разговаривать на тему «Вольдемар», и через две недели скверного настроения утешилась с приезжавшим старым знакомым — немецким майором.

— Он, к сожалению, не «фон» — говорила она Деминой, — и никогда бы не женился на мне, даже если бы не был уже женат, — но для чего я буду отказываться? Вольдемар нашел себе уже дюжину других. Это были только слова!

Бюро печати разбомбили во второй и третий раз. Пострадали только вещи, и Луизе прибавилось хлопот — устраиваться заново, и каждый раз все хуже. Шла осень и зима 1944 года. Тяжелое мутное небо набухло пылью развалин, каждый день или ночь — или и день и ночь — дробились под тяжелым налетом площади и дома. Зловещие вопли сирен разрывали время, останавливали поезда, трамваи и часы обычного хода жизни. Тикающий аккорд радиотелефона, включавшегося во время

налета, отмерял нудные, страшные, длинные часы ожидания бессмысленной смерти.

Но бомбовозы улетали. Гамма замолкала. Кто-то корчился и задыхался еще в погребках, а живые облегченно вздыхали, поднимались в полуразрушенные квартиры, забивали выбитые окна и ложились спать, или продолжали день, как всегда.

«Как всегда» — понятие тоже относительное. От него постепенно откалывались кусочки самоуверенности. «Как всегда» сжалось в довольно жалкий комочек бледнеющих с каждым днем, обреченных, и всетаки живущих людей. Все таки. Страх вылечил всех самоубийц. Театры и кино были переполнены, как бункера. Жизнь судорожными толчками бросалась во все стороны. Вперед шло только время, безжалостно обкрадывая последнее, что могло еще остаться — будущее.

Луиза прибежала вечером сразу после налета и схватила за руки.

— Что случилось? Опять разбомбили бюро?

— Нет, нет, все в порядке. Не пугайтесь, фрау Нина. Я получила открытку от Вольдемара. Он ранен, пишет, что не опасно, но надолго в лазарете. Просит, чтобы я приехала, и я уже говорила с шефом и была в полиции: вы же знаете, теперь нельзя ездить, надо разрешение. Я машу им открыткой и подсовываю чиновнику сигареты, и если бы он не дал, я бы в него вцепилась! Теперь все в порядке. Поезд завтра в одиннадцать, а сегодня я пришла к вам, чтобы рассказать и спечь в вашей духовке, у нас нет больше плиты. Как вы думаете: если он ранен в бедро, то может есть рыбу? Идемте на кухню, и я начну, а то опять налет...

«Теперь, — подумала Демина, когда через два часа болтовни, и выкручивания звездочек из теста, Луиза уложила свою сумку: — теперь я могу сказать твердо: «Вольдемар — погиб».

Пророчество подтвердилось. Луиза вернулась домой через десять дней, порозовевшая, похудевшая, взрываясь от полноты впечатлений, как ракета.

— Фрау Нина, привет от Вольдемара! Он вас так уважает! И скоро будет здесь. Как же ему одному лежать там, а я не могу бросить службу, особенно теперь, когда надо готовиться к свадьбе. Вы мне расскажите, как это у вас должно делаться.

— Жених приезжает в церковь верхом, а невеста лежит у него поперек седла, в знак того, что он украл ее от родителей, — совершенно серьезно сказала Демина.

— Правда?! А вы будете изображать родителей, и гнаться за нами позади?!

В голубых глазах Луизы доверие и восторг, она готова верить всему. Демина перестает шутить.

— Рассказывайте по порядку. Как он ранен?

— Я говорила со всеми врачами, потому что, если верить ему, то он лежит вообще зря. Скоро они снимут гипс. но ходить еще нельзя, и вообще он будет хромать. Но казаки много не ходят, а на лошади это незаметно. Есть он может все, я накрыла ему столик скатертью, поставила цветы в вазочке...

— В вазочке?!

— Я взяла одну с собой, не дорогую, но очень миленькую, и готовила ему каждый день настоящий ужин. В лазарете кормят не плохо, но все таки это не домашний стол. Он написал мне еще три открытки, но они не дошли. Ну да, бомбежки здесь и отступление там... Я написала командиру его полка о разрешении на брак. Его не пошлют больше на фронт, армия отступает, чтобы собрать силы, но мы должны победить...

— Не на Одере, Луиза! — невольно вырвалось у Деминой.

Луиза рассердилась.

— Фрау Нина, я тоже не хочу войны, и не делаю войны. Мы вообще ничего не можем сделать. Мы должны ждать и верить, что нам говорят, и заботиться еще о том, что можно. Женщина никогда не должна терять здравого смысла.

Логика Луизы не допускала возражений.

Иностранным журналистам надоело переезжать из развалин одного отеля в другой, и они устроились на вилле в окрестностях Берлина. Вилла стояла в лесу. На клумбах под окном распускались подснежники и крокусы, в затянутых коврами комнатах всегда был наготове телефон, в гараже — автомобиль. Конечно, их предупредят во-время об опасности — они успеют уехать. И, конечно, это самое лучшее место для Вальдемара.

Его выпустили из лазарета, он ходил на двух костылях и капризничал, как все сильные, не привыкшие к бездействию мужчины. Луиза упросила шефа позволить ему поселиться в ее комнате: разве можно в такое время считаться с пустяками

и приличиями! Шеф махнул рукой. Конечно, русскому офицеру в германской форме было бы безопаснее теперь в тылу, но где теперь тыл?!

Есаул Каменский лежал на диване, листал непонятные журналы, писал от скуки письма товарищам. Все-таки лучше, чем в лазарете... Луиза надоедает со свадьбой... В конце концов можно и жениться. Советские войска в тридцати километрах. Но Берлин будут держать долго. Когда же будет пущено в ход новое оружие? Или это пропаганда только? Что же тогда? Журналисты успеют удрать, и он с ними. Надо податься к союзникам — те, конечно, поймут, что казаки воевали не против них. И все образуется. Только вот это проклятое бедро...

Деминым дали пропуск в Италию. Они уехали как-то внезапно. Луиза помогла им тащить на вокзал потрепанные чемоданы и качала головой.

— Беженская жизнь! Еще не так страшно, фрау Нина. Оставайтесь хоть на две недели — до моей свадьбы. Как же я буду венчаться без вас?!

— Венчаться вы можете и в Италии. Еще раз говорю вам, Луиза: положение слишком серьезно...

— Ах, фрау Нина, как будто шеф иностранной печати знает меньше, чем ваш генерал! Нечего разводить панику. Как Вольдемар поедет на своих костылях?! Поезда переполнены... Вот увидите, через месяц, два, мы приедем к вам в Италию, отправимся в свадебное путешествие...

Но через несколько дней после отъезда Деминых есаул получил приказ из штаба: «все казачьи офицеры и их семьи...»

Это было утром, и Луизе показалось, что разрывы артиллерийских снарядов стали как-будто ближе. Ну что ж, значит действительно серьезно. Нужно бросать работу: Вольдемар возьмет ее с собой. Невеста — это тоже семья. Нет нет, совершенно бесполезно уговаривать ее оставаться здесь и ждать конца войны.

На костылях он был беспомощен. Ухаживает за ним... пусть!

Шеф поехал после обеда в город. Луиза тщательно уложила чемоданы и сумки. Пригодиться может все, а приданое... ах, все эти новенькие замечательные вещи, скопленные на чердаке в Маркт-Швабене! Пока придется обходиться без них. Когда война кончится, можно будет и их взять. Завтра днем от-

ходит поезд. Не надо только беспокоиться, все очень просто в жизни.

Да, просто.

Шеф не вернулся к вечеру, телефон не звонил: опять, наверно, порвались провода. Придется разогревать ужин, когда он вернется...

По двум дорогам через лес, охватывая зажимом тихие фешенебельные виллы, шли советские танки. Бой проходил где то сбоку, за лесом, его не было слышно в общем привычном гуле, и так часто уже случалось, что какие-нибудь осколки разобьют стекла...

Виллы не сопротивлялись, у них не было пулеметов. Две сгорели, а остальные стали освобождать для команд и штабов на рассвете ясного апрельского дня.

Окно луизиной комнаты выходило в сад сбоку, оттуда не было видно подъезда, но есаул сразу проснулся от грохота в парадную дверь, и сразу понял. Луиза возмущенно выскочила вниз, подвязывая на ходу халатик. Кто это, что за безобразие?

Есаул невольно метнулся к окну и остановился. Второй этаж, костыли, бедро... махнул рукой. Может быть, германские солдаты, все-таки?

Прокovskyял к двери, осторожно приоткрыл ее, прислушался. В холле — срывающийся голос Луизы, ее смешные русские слова и окающая, знакомая речь.

«Товарищи»... донеслось на верх. Нет, это не РОА. Никаких сомнений. Как же так? Значит, так. Ну что ж, от судьбы не уйдешь. Шаги уже на лестнице...

Есаул хотел еще что-то вспомнить, но ничего не вышло. Только перекрестился наспех, прислушиваясь к треску ступенек, взял с ночного столика револьвер, вцепился зубами в дуло и вздрогнул от сверкающего, ослепительного взрыва...

Луизу взяли в том же халатике, только пальто успела накинуть, а допрашивали к вечеру. Она успела уже оправиться и вполне владела собой.

— Луиза фон Каменски, — твердо заявила она. — Я жена майора. Мы повенчались недавно и еще не успели переписать документов.

Она вспомнила лицо русского священника в Берлине, и ей казалось, что он благословляет ее. Она похудела за эти часы,

странно выпрямилась, и старалась держаться, подражая движениям Деминой.

— Да, он был ранен и жил здесь, мой муж. Я русская, мое имя Луиза фон Каменски.

Луиза прямо смотрела на советского офицера голубыми, чуть наивными, но смелыми глазами. Советский офицер напоминал ей Вольдемара, только был помоложе.

Она ничего не поняла, и думала, что ее ведут к другому офицеру, и потому не позволили взять вещей. Поняла только на дворе, в последнюю минуту.

— Я умираю, как мой муж, — успела сказать «казачья невеста». Шедший с нею солдат прикончил ее одним выстрелом, сразу.



## Тетушка-мельница

«Свежий ветер с севера-северо-запада»...

Это радио.

«Клип-клап! Клип-клап!» — несется в ответ из кухни. А это — мельница ухватила «ветер» открывшейся двери и вертит, щелкает крыльями. Забавная она, всегда напоминает о себе. Хорошо, что я ее тогда не выбросила...

Тогда мы только что переехали в дом, и он не был готов, не везде еще были полы, не хватало дверей, окон. Решила устроиться пока кое-как, на походных кроватях и ящиках. Но брат возмутился. Откуда он раздобыл денег — не знаю, но отправился на склад старой мебели и вернулся с полным грузовиком: пружинные матрацы, обшарпанный, но зато круглый стол, громадное дедовское кресло и невообразимый пестрый кухонный буфет, бывший невозможной дешевкой и в свои лучшие времена. Очевидно, его потом красили не раз, и каждый раз плохо, и притом другой краской. Верхние шкафчики были заклеены мерзкой бумагой «под стекло», а сбоку привинчен какой то ящик, вроде фаянсового, с синим голландским рисунком, и ручкой: кофейная мельница.

Я неблагодарна. Я взорвалась.

— Эту гадость зачем было брать?

— Буфет то? — изумился брат.

— У меня есть прекрасный кухонный буфет! Единственная

приличная мебель в доме! Куда же это чудидце?

— А моя комната? Набила шкаф всякими своими тряпками!

— Но не его же туда...

— Вот именно.

Брата не переспорить. И в конце концов, он привез мне чудесное кресло... а потом я выброшу это мещанство на чердак, конечно, сожгу, разобью в щепки!

— Главное, есть куда класть пока. И я выкрашу... мечтательно произнес брат. Значение его угрозы я поняла только на следующий день, вернувшись с работы: даже на входной двери рыжело коричневое пятно. Пятна были на полу, дверях и моем прекрасном буфете тоже! Пятна вели веселой дорожкой в комнату брата, где рыже-коричневым стало все: пол, столик, стулья, и, конечно, новое приобретение. Коричневым был и сам брат, и все мои, бережно хранимые, кисти!

— Все в тон! — ликовал он. Весь день трудился!

Я пыталась заплакать.

Мельница висела сбоку на буфете, и мне было совсем не до нее. Так она и пылилась до торжественного дня, когда мерзкое сооружение было действительно вытащено на чердак, где я приспособила его под склад веревок, цветочных луковиц и всякого нужного хлама. Тогда только и обратила внимание на нее, рассмотрела как следует, и стало жалко выбрасывать. Пусть висит на кухне. Винты заржавели, но я почистила, смазала, и просидела два вечера подряд, придельвая ей новую крышу и прекрасные крылья из фанеры. Они немного мешали вертеть ручку, но зато сами вертелись от малейшего дуновения, и щелкали: «клип-клап», как будто бормотали что-то. Очаровательная мельница!

— Пусть и в кухне будет сознательная старомодная нотка, — объясняла я знакомым. С какой стати покупать дорогую электрическую машинку, когда так не трудно провертеть горсть зерен на ручной мельнице? Не люблю серийных вещей, вроде этих модных столов, вывернутых так, что поставить на них ничего нельзя, а встретить можно в любой квартире, куда ни приди. Все на конвейере, и все без души. А у нее безусловно есть свое выражение.

Так она и начала крутиться: приветливо, хозяйственно, уютно. Я давно простила брату.

«Ветер норд-норд-вест...»

Здесь всегда западный ветер. Одну стену дома пришлось обложить плитами, чтобы меньше дуло. Сад еще молодой, да и не хотелось сажать хвойной изгороди, наряднее цветущие кусты. Но кругом поля и луга, недалекий лес не защита. Это даже не предместье, а просто деревенский дом, карманная усадьба. Не слышно ни трамваев, ни автомобилей, зато свистит ветер, стучают в окно ветки. Сад сейчас в темноте, по нему бегут тени от фонаря у калитки, и фонарь тоже старый, из тех, что когда то зажигал ламповщик с лесенкой, а от того, что в нем сейчас электрическая лампочка, стиль не нарушен.

Можно было бы затопить камин для настроения в этот холодный ноябрьский вечер, но я одна дома, мне лень, хотя и зябко. Наверно все таки ветер забрался под крышу... проще включить электрическую печку, хоть и не живой огонь, но тепло, и хорошо покурить, лежа на диване и размышляя: что же начать? Работы много, выбор труден: дошить начатое платье, взяться за новую книгу, навести порядок в письменном столе?..

«Клип-клап, клип-клап»...

Неужели забыла закрыть двери в кухню? Не люблю открытых дверей по вечерам. А встать лень.

Да и не нужно. Слышу, как дверь захлопывается, потом что-то шуршит в коридоре, будто задевает за стенки — и на пороге моей комнаты появляется мельница.

Да, вот так просто: вошла и стоит. Не та, что прикручена на кухне, а большая, почти до потолка. Стоит и колыхается, потому что на ней надет, как прозрачный халат, деревянный остов настоящей мельницы из серых досок, с коричневым кирпичным низом и перильчиками вокруг, а наверху крылья, и они стгибаются слегка, чтобы не задеть потолок и вазы на полке. Под халатом же ясно видно, что она большая, толстая, в ярко коричневой юбке, подвязанной белым передником, в белой с синим, будто вышитой крестиком, вязаной кофте, и настоящем голландском чепце. Волосы гладко прилизаны, глаза живые и круглые, а щеки немного висят, но очень решительный двойной подбородок.

Она отодвинула дверь в моей раздвижной стене, проплыла к письменному столу, и уселась в дедовское кресло. Еле влезла в него, но прозрачный деревянный остов попрежнему колышется слегка, то пропадает в тени, то снова виден, и очень трудно отличить руки от крыльев, — как во сне, когда реальное...

— Оставь, пожалуйста, измерения — ворчливо произносит она, усаживаясь поплотнее. — Реальное-нереальное, ирреализм, сюрреализм! Не все ли тебе равно, в каком плане существует то, что существует? Умнее от определений не станешь. Принимай все, так как есть, и только. Можешь называть меня тетушкой.

Мне всегда хотелось иметь какую нибудь, хоть самую заваливающую тетушку, и не в детстве, а гораздо позднее, но вот не было такой. Я не знаю поэтому, как с ними обращаться: в смятении закуриваю новую сигарету, сразу же соображаю, что это может показаться невежливым, машу рукой, чтобы отогнать дым, который, как назло, тянется к окну, к креслу, спохватываюсь снова, что от машущей руки могут завертеться прозрачные крылья — и прижигаю отдернутой сигаретой любимую вышитую подушку.

— Перестань мельтешиться, — строго одергивает она. — Можно подумать, что ты привыкла разговаривать только с людьми! А кто заключал договор с крысой Хруп-Хруп? Впрочем, хоть я совсем презираю мышей, но не уважаю и крыс, потому что они тоже едят зерно и неопрятны. Но можно подумать, что ты никогда не родилась с кленом, не просила расти поскорее свою персидскую сирень вот тут за окном, у тебя никогда не было домового в кожаном табурете, и друзей в лесу и вообще! Теперь поговоришь с мельницей, давно пора.

Все это так, но у меня все еще не находится подходящих выражений.

— Я... я очень рада, дорогая тетушка, что вы чувствуете себя хорошо в моем доме... выдавливаю я наконец робкое приветствие.

— В твоём доме! — фыркает она пренебрежительно. — Ты что ж, меня за кофейную считаешь?

Опять села в лужу! Нет, ей Богу, с крысой Хруп-Хруп было куда легче столкнуться. Я просто сказала ей: «Пожалуйста, я буду класть тебе каждый вечер корки, косточки и разное, а ты позаботься о доме, и выстави этих паршивых мышей, которые и днем прыгают по полкам и изгадили мне всю крупу! Вообще я ничего не имею против мышей, они тоже почтенные хвостатые, но надо же честь знать и иметь манеры!» Только всего разговору и было. Хруп-Хруп ежевечерне являлась за своим ужином, не смущаясь ничьим присутствием, шествовала медленно и важно,

а через три дня не было ни одной мыши, и они пропали навсегда. Потом я с ней здоровалась при встрече и благодарила, и только. Милая Хруп-Хруп в том, старом, давно потерянном доме...

— Но кофе — прекрасные зерна — возражаю я наудачу.

— Да, для домашней помолки. Кухонная мельничка, не спору, уютная вещь, если она настоящая, а не с электрическим хвостом, и от чашки кофе я сама не откажусь, но мы говорим серьезно. С твоей стороны очень мило, что ты починила ее, ты почтительна к старшим и чувствуешь вещь — иначе бы я и не подумала придти к тебе. Но я — Мельница вообще, понятие, символ, ветряная, старшая в роде. Я не отрицаю, что у моей кузины, с водяным колесом, тоже есть известная прелесть: она живет уединенно, вокруг нее всегда деревья, журчит вода. Однако, в омутках водится подчас всякая нечисть, а вода вечно одинакова и журчит одно и то же. Колесо с крыльями не сравнишь! Не говоря уже о том, что вокруг нас, ветряных всегда широко раздвинут горизонт, часто близко море, и всегда ветер. С севера и с юга, с востока и запада, со всех концов света, из всех стран, и каждый рассказывает новое. Кузина Водяная постигла лесную премудрость, не спору, но мы, Ветряные, знаем все в мире! Да, пожалуй, и всех — чего ж бы не знать ветру?

Больше всего мне понравилась мысль о кофе. Кофейник стоял рядом под грелкой, и я быстро налила чашку и поставила рядом с ней на край письменного стола, стараясь не задеть крыльев. Она снисходительно кивнула головой, и стала пить, как пила бы любая почтенная тетушка, пришедшая в воскресенье в гости. Кофе, очевидно, оказалось по вкусу, она смягчилась слегка.

— Впрочем, — заметила она, ставя чашку обратно, — вода ли, ветер ли помогает мельнице, суть от этого не меняется. Мы мелем зерно. Люди его выращивают, собирают, сушат. Они должны жить возле своих полей, возделывать и любить землю, строить кладовые для полных ларей и мешков. Это и есть настоящая жизнь. Зерен много, людей тоже, каждый живет своей жизнью, и все похоже по существу, а мы перемальваем их в пыль, и мелем от века и до века, всегда и все...

— «А завтра мельницы все будут продолжать — молоть...» вспоминаю я цитату из Ибсена, так поразившую меня в молодости. — Но ведь сказано, что не единым хлебом жив человек,

дорогая тетушка! — заканчиваю я невольной дерзостью и сама пугаюсь.

— Фррр! — она так рассердилась, что крылья завертелись сразу быстро-быстро, как от порыва ветра. — И ты туда же! Просто удивительно, до чего у вас всех вывернута мозги. Стоит сказать простую вещь, как ее сейчас же переворачивают вверх ногами. Давай ка продолжим: а без хлеба прожить может? То-то и оно. Делаете только вид, что можете питаться теориями и таблетками, и что эта гадость чрезвычайно вкусна, к тому же. Мы мелем жизненное зерно в муку, из нее делают хлеб, теплый, с блестящей вкусной корочкой, хлеб, дающий здоровье и жизнь. Положим, бывает мука и потоньше: для медового пряника или сахарного кренделя, но праздники тоже очень нужны человеку. А из самой белой, самой тонкой муки печется святой хлеб, причастие в церкви... Мало только попадается пригодных для этого зерен. Так и люди: перемальваются по разному. Но теперь довольно: я не привыкла много говорить, я люблю слушать. Ты ведь не в первый раз меня видишь: вот и Расскажи о своих встречах с мельницами — за всю жизнь. Припомни.

Ее тон не терпел возражений, а кроме того я действительно отношусь с почтением к старшим. Правда, я сама давно уже взрослая, но перед столетними ветрами в ее крыльях становлюсь маленькой.

— Первый раз я увидела мельницу, когда мне показала ее из окна вагона бабушка, по дороге к ней в усадьбу. Мне очень понравился ее силуэт, и когда я потом нашла картинку в своем первом дон Кихоте, то узнала сразу...

— Сраженье с ветряными мельницами! Каждый толкует на свой лад. А тебе не было жаль, что этот свихнувшийся рыцарь лез на мельницу со своим копьём и пытался мечом рубить крылья? Те самые крылья, без которых она не может молотить зерно и дать хлеб?

— Но ведь он принял их за злых великанов, машущих руками...

— Вот именно. Не разобрав, в чем дело, кинулся драться с тем, что примерещилось. Небось, когда свалился на землю, так самому стыдно стало. Злых великанов сколько угодно, с ними бы и дрался, а то сколько раз уж так: переломают у почтенных мельниц крылья, и притом с самыми благородными намерениями, а на настоящий бой сил и не хватит. Вот и делают так ре-

волюции, вот и выходит, что не убавили зла, а прибавили: по-мольщики то без муки остались. Ну, дальше!

— Потом, это было время первой мировой войны, я получила в подарок «Серебряные коньки», и на каждой странице в книге были голландские пейзажи. Мама собирала в ту зиму коллекцию кофейных чашечек — белых с синим, как дельфтский фарфор, и вышивала новую скатерть. Я помню, что очень удивилась: скатерть была из тонкого белого полотна, и по ней шли каймой мельницы, рыбацьи шхуны, голландцы в широких штанах и деревянных сабо, и голландки в чепчиках, а на углах были вышиты медальоны с красивыми головками, тоже в чепчиках, только кружевных.

— Что ж тут удивительного?

— Меня поразили именно эти медальоны. Вышивалось все синим и голубым, и так странно было видеть профиль девушки, обведенный синей ниткой. Как же так: лицо — и вдруг синее? Но красиво.

— Тоже не удивительно. Теперь нарисуют синюю закорючку, и говорят, что это потусторонний сон, или драка трех обезьян, какими их видит художник, и притом только он один, и притом только это еще безобразие вообще. Голубые голландки все таки лучше, в них есть стиль: в стране пестрые цветочные поля и яркие платья, но даже ветер голубой от моря. Кстати, можешь налить мне еще чашечку кофе, и я объясню тебе цвета.

Я снова вскочила, чтобы подать ей, и она стала пить маленькими глотками, отдувая полные, свисающие щеки.

— Тебе никогда не приходило в голову, почему редкий человек не любит какогонибудь оттенка синего? Чаще всего — голубой. Именно человек, как живое существо, которому присущ только один единственный цвет — красный, потому что красного в остальной природе в общем нет в чистом виде. Да, да, не возражай, что маки и тюльпаны, и ягоды, — это мелочь. А вот небо синее, и это основной цвет, воды и воздуха, солнце — желтое, и вместе они дают зеленый растениям. От желтого, в сущности, и коричневый цвет земли, которая тоже основа. Красного же цвета только...

— Кровь, — догадалась я.

— Об том и говорю. Скрытый цвет жизни, которую видишь только, когда она прольется. Может быть поэтому всякое красное пятнышко в траве кажется таким радостным? Впрочем,

ненависть тоже в крови, красными бывают и флаги, что часто совсем уж не радостно, и боль — символ Красного Креста — тоже кровь. По крови человек — только животное, но поскольку у него есть душа, он стремится к высшему — отсюда и любовь к голубому. Бессознательная тоска по небу, давшему ему эту душу. Заметь, что звери не различают цветов, и если хочешь узнать человека, посмотри, какое у него чувство красок. Советую тебе думать больше всего о синем — беспредельный, высокий цвет, цвет разлуки, и его надо держать чистым. Ну, дальше!

— Потом, когда я начала самостоятельную жизнь — это было рано, родители пропали без вести в гражданскую — я тоже вышивала таких голландцев, шхун и мельницы на салфеточках в подарок учительнице. Я была самой бедной девочкой в классе, жила у знакомых, давала уроки с тринадцати лет, и всегда ходила в одной и той же суконной юбке, которую ненавидела. Учительница обладала меня за сочинение, и ставила для школьного вечера мою сказку. Я пришла к ней на дом прочесть другую, и стыдилась признаться себе самой в «обожании». Но у нее были длинные, ниже колен, золотистые косы, и дома она вынимала из них шпильки, у нее болела голова. Мужа ее я боялась: у него была длинная черная борода, и он казался мне ужасно старым и строгим, я очень жалела ее. Так хотелось сделать ей красивый подарок, и я долго возилась с этой дюжиной салфеточек, исколола себе иголкой пальцы, так что даже выучилась шить с наперстком... Когда держала потом экзамен в институт, писала сочинение на тему «Письма моей мельницы» Додэ... Еще, много лет спустя, часто ездила в деревню, где жила на водяной мельнице у запруды...

— Экзамен, значит, выдержала. У человека часто ограничено пространство, как и он сам. Что ж из того, что он переносит в него большой мир только в символах? Лучше вышивать голландскую мельницу, чем ничего не знать о ней! Важно стремление и образ. Ну, а потом?

— Я видела одну знаменитую — поспешила я ее задобрить — (видимо, она не слишком любила свою водяную кузину, а о ней я как раз могла рассказать многое)... — в Потсдаме. Уже во вторую мировую войну. О ней есть рассказы во всех Хрестоматиях. Мельница заслоняла вид из окон королевского дворца, и король, это был Фридрих Великий...



— Мельница ему, видите ли, помешала!

— Он все устраивал во французском вкусе в своем Сан-Суси... и сперва конечно, предложил мельнику продать ему землю со всеми постройками, потом, когда тот отказался, стал предлагать больше только за снос, а в конце концов решил отобрать силой, но тогда мельник подал на короля в суд — и выиграл дело. Закон оказался сильнее.

— Трогательный образец человеческой свободы и права! В особенности трогательным он должен был казаться именно во время этой последней войны, неправда ли? Люди обычно восхищаются тем, чего у них нет.

— К сожалению, мельница была уже в мое время переделана в ресторан, очень красивый, только крылья не вертелись больше. Может быть деревья в парке так разрослись за двести лет, что заслоняли ей ветер...

— Ерунда! просто сами испортили, это на вас больше похоже. Я слышала о «Мулен Руж» тоже. Ведь додуматься надо до такого выверта: красная мельница! Что же тут может получиться хорошего!

— Но ведь жизнь идет дальше и меняется, людей стало очень много, у тебя не хватило бы ветра, чтобы намолоть муки и всех накормить. В приморских странах, впрочем, осталось еще довольно много мельниц, но при теперешних экономических условиях они не достаточно рентабельны...

— Во-первых, ты сама не веришь тому, что говоришь, во-вторых, думаешь иначе, а в третьих об экономике брось. Она бурого цвета, а я унылости не люблю. Неприлично также забывать, с кем ты разговариваешь. Я простое, понятное существо, а не теория с какиминибудь измами! Дважды два — четыре, клип-клап! Я живу под небом, и никогда не забываю о нем, потому хотя бы, что мне нужен ветер, чтобы дать хлеб. Это вы решили доказать, что дважды два — все, что угодно, а не только пять. Ну и доказали: все пошло вразброд. Давно пора бы вспомнить старую, добрую, честную таблицу умножения и восстановить четверку. Впрочем, тебя лично я не упрекаю. Ты все таки приделала старой мельничке крылья и шляпу, и радуешься. И хлеб ты тоже часто печешь сама — это в стиле усадебного дома, так и должно быть, когда живешь среди полей. Люди должны сами печь хлеб — только тогда они

поймут жизнь. Ну, вот ты поняла — и перемололась. А в награду я расскажу тебе историю твоей кофейной мельнички.

Хотя тетушка и заявила в самом начале, что больше любит слушать ветер, чем говорить самой... но каждому когда нибудь надоест молчать, а я охотно смиряюсь пред непререкаемой властью. Это — прошлое, от него не уйдешь, и уходить не надо.

— Итак, она была самого начала просто фаянсовым ящичком с синим рисунком. Только тебе пришлось в голову придумать ей крылья! Она стоила дешево, мещанский товар, и какая то тетка купила ее в подарок для свадьбы в семье фабричного мастера. Дочка выходила замуж за учителя. Она была маленькая, кругленькая, белое платье резало ей подмышками, она поминутно краснела и была счастлива. Жених был молод и застенчив, а жили они в маленьком городе, и три года, копили на обустройство. Чтобы купить этот самый буфет, например, который так возмутил тебя, невеста пошла ухаживать за капризной больной. Потом буфет занял в ее кухне почетное место, тем более, что там же и ели, и жили вообще. Когда подросли дети, и их нельзя было больше держать в спальне, пришлось, скрепя сердце, перегородить парадную комнату и отдать половину детям. Вначале в этой парадной было очень немного прямой, жесткой мебели; перегородженная, она стала гораздо уютнее. Словом, жизнь шла своим чередом. Тогда, видишь ли, люди могли жениться, состариться и умереть — все в одном и том же доме, даже в городе. Жизнь была бедной, но незабываемой, понятной, но несправедливой, а главное нестрашной. Детей было много, четыре сына, а жалованья мало. Впрочем, это и сейчас не изменилось: для тех, кто нас учит, у нас находится меньше всего денег, да и любви тоже: учителей изводят, а родителей считают выжившими из ума. Некоторым потом становится жаль, но это приходит обычно с сединой, а тогда уже поздно... Так вот, неудивительно, что фаянсовая мельничка была в почете: кофейные зерна мололись в ней редко, это было праздничной церемонией. Ты сама знаешь, как становится светло в комнате, если на столе постелена праздничная скатерть, поставлены цветы, свежее печенье с такими вкусными крошками, и пузатый кофейник — все в аромате горьковатого, жженого кофе. Дело же не в том, чтобы поесть повкусней, хотя и это не плохо: дело в большой любви, без которой не может быть настоящего праздника. Вот если

ее нет, тогда это натянутость, пустота и скука, шелуха от потерявшегося зерна.

— Но у маленькой жены учителя было много любви. Да, она была мещанкой. Она вышила незабудками домашние туфли мужу в первые же годы брака, вышивала и потом; она считала, что праздник должен непременно отличаться от будней; повесила канарейку в клетке на кухне, и в парадной комнате чувствовала себя гостьей; у нее была не одна, а несколько копилочек, куда она откладывала в каждую понемногу на разное, и меньше всего на собственную большую мечту: серое шелковое платье. — Увы, оно очень долго было мечтой, и каждый год перешивалось или освежалось неизбежное черное: мальчикам, решил отец, надо было дать настоящее образование... ну, как еще описать жизнь, в которой один день так похож на другой, но у каждого свои заботы, и перемены глубоки, но незаметны? Молодая женщина сама выучилась кроить и шить штанишки и рубашки, а если не могла часто крутить ручку кофейной мельницы, то достаточно крутила ручку швейной машинки. Длинных брюк она не научилась шить, но зато кроила штанишки для других детей и вырученные деньги откладывала в копилочку на костюм очередному сыну... Молодой учитель редко позволял себе выпить с друзьями, а игрушки нередко делал детям сам; со временем он пополнял и поседел, стал инспектором — но сыновьям надо было давать на университет. — Даже мука, как я уже говорила, бывает разная: простая и побелей, а иногда и горчит... Сперва дети были просто краснощежими мальчишками, дрались и попадали в лужи; уроки они делали на кухне, потому что там было теплее, летом ездили в деревню к дедушке, отцу учителя, а зимой в городе играли иногда на улице в снежки. Так, как теперешние дети, они не знали улицы, у них было слишком много дела дома: кроме уроков — почистить картошку, наколоть дров, принести угля, помочь матери натереть пол. Старший много читал в свободное время, второй любил мастерить всякие поделки из дерева, третий возился с белыми мышами — да, когда полагалось ложиться спать, казалось, что ни на что не хватало времени. Теперь его не хватает тоже: кроме улицы, есть радио, телевизор, кино, — зато можно обойтись без дома...

— Случались и болезни: иногда звали доктора, а большей частью обходились компрессами, иодом и липовым чаем. Роди-

тели никогда не говорили о нервах: ни себе, ни детям. Да, после кори у младшего сына одна нога стала короче, росла меньше, и он остался хромым. Да, старший сын чуть не умер от воспаления легких. Но это было несчастье, а несчастья неизбежны в жизни, и помочь им таблетками вряд ли можно. Впрочем, калечатся и умирают и теперь, со всеми таблетками.

— Слишком долго было бы рассказывать, как эти мальчики относились к жизни. Сперва они принимали все от родителей и от нее как должное, потом стали кое что понимать, каждый по своему. Проще рассказать, как они относились к кофейной мельничке. Старший заинтересовался ею еще совсем маленьким, пытался потихоньку выкрутить все винты и исследовать; его отшлепали и запретили подставлять стул, чтобы достать до ручки. Через несколько время он презрительно заявил, что это «совершенно простая машина», позднее знал уже такие слова, как «примитивная техника», а это, в его глазах, не было достойно даже презрения современного человека.

— Он хорошо учился, в гимназии и университете, кончил подряд физико-математический и инженерный факультет. К родителям относился снисходительно, и если забывал о них, то по недостатку времени. Потом поступил на авиационный завод, продолжал научную работу, стал признанным специалистом, и если не умер, то и сейчас делает еще ракеты или бомбы, чтобы разрушить хотя бы твой дом, где живет на кухне мельница его матери... Пожалуй, лучше было бы молоть по таблице умножения, а? Или ты считаешь, что твоя тетушка слишком консервативна для настоящего прогресса? Я, видишь ли, считаю, что двигаться можно и вперед в разные стороны...

— Ну вот, теперь второй, золотая серединка. Он учился прилежно, но средне, мельницу находил в порядке вещей, несколько не задумывался о ней, но часто молот кофе для матери: из первых заработанных денег купил ей ко дню рождения фунт самого лучшего сорта. В университет не пошел, потому что решил поступить сразу на государственную службу; пенсия обеспечена. Потом женился на вполне подходящей невесте; любил дома столярничать, завел целую мастерскую, экономя на покупке мебели; ничем никогда не выделялся, но все его любили за спокойствие, порядочность и мягкость; два раза в месяц аккуратно посещал мать, всегда принося ей мелкие подарки. Он очень уважал своих родителей, и всю жизнь твердо

знал таблицу умножения: не больше, но и не меньше, и никогда не сбивался. Его призвали в армию на второй год войны и убили на третий. Клип-клап!

— Третий сын и мельница любили друг друга. Он привык с детства подолгу простаивать перед ней, изучая рисунок: знал его наизусть, но за ним ему мерещились голландские плотины, каналы, машущие крыльями мельницы, стучающие сабо и паруса кораблей. Ему всегда казалось, что он должен стать моряком, хотя больше всего он любил лес в деревне, а море знал по книгам. Книг он читал очень много, а еще больше мечтал и писал стихи.

— Стихи были гимназическими произведениями, не больше. Но раздумывать о дальнейшей судьбе ему было нечего: как только кончил гимназию, то отправился в армию, а потом на войну. Удалось кончить сперва военное училище; он выбрал морское. Но паруса не шелестели больше над морем; он попал на подводную лодку, увидел море с изнанки и разлюбил его окончательно. Его ранили два раза, он очень беспокоился за мать, сидящую под налетами, посылал ей посылки из своего пайка и любящие письма. Под конец войны попал в плен и там принял твердое решение начать жизнь сызнова и по настоящему: стать пастором или лесником. Вернувшись домой, в разбомбленный город, он нашел мать на прежней квартире, скученной от жильцов; мать перебралась на кухню. Погоны лейтенанта были давно уже сняты: он работал повсюду, где мог достать работу, и учился — лесоводству. Человеческие души не решился выращивать — а таким именно представлялось ему священство. Деревья же растут все, даже калеки, к небу. Недавно он стал лесничим, и живет теперь с матерью, давно овдовевшей, в лесу, в домике вроде твоего. Может быть, женится вскоре, хотя у него резкие складки на лице, плотно сжатые губы и грустные глаза. Он попрежнему много читает, и когда ходит по лесу, то ему кажется, что мог бы писать стихи. С деревьями он разговаривает так же, как ты, хотя больше знает о них ученых слов. Но латинские названия не заслонили ему сути, душа не запуталась в них и не потерялась. Он счастлив. Может быть, ему будет трудно найти жену из-за этого: среди брачных объявлений в газетах всегда трогательно и беспомощно выглядят объявления именно лесников, в кото-

рых подчеркивается, что ищут девушку, любящую тишину и способную перенести лесную глушь. Ну, кто этим сообразится в современном неоновом, фильмовом, бензинном, трещащем городе? Кто откажется от высоких каблуков и современного комфорта в городских коробках? Кто заменит коктейли и танцы сбором грибов и ягод? Пока он нежно ухаживает за своей старушкой, обставил дом простой и красивой мебелью — и вот почему старый кухонный буфет остался с прочим хламом на городской квартире, и новые жильцы продали его старьевщику. Впрочем, только из-за хлопот по переезду он забыл о старой мельничке, а ему хотелось сохранить уют прошлого, скромную будничность и сердечный праздник. Такого простого ящика он не нашел больше, но купил матери очаровательную старинную мельницу, а на поляне перед домом построил, представь себе, модель настоящей, в рост человека, и подумай только, мелет на ней простую муку и кукурузу для кур!

Тетушка рассмеялась, удовлетворенно и тихо, и на ней закольхался прозрачный халат деревянного остова, вышитая синими крестиками белая вязаная кофта, и бледные мучнистые щеки.

— Но их было четверо? — спросила я.

Она сразу поджала губы.

— Четвертый остался хромым после болезни, но хромал и по характеру... Теперь, конечно, стали бы рассуждать о разных комплексах. Они были, разумеется, всегда, но им старались придавать меньше значения, и это помогало пожалуй больше всего. Разные несчастья выпадают на долю каждого, и каждый настоящий человек должен уметь справиться с ними и преодолеть: тогда они служат на пользу иногда... Нет, он не любил мельницу; но терпеть не мог ни ее, ни праздничного, связанного с ней; по воскресеньям, казалось ему, когда приготавливалось кофе, все нарочно старались быть хорошими. А он считал всех плохими, выискивал недостатки: мать мелочна, потому что бережно отсчитывает зерна кофе; глупа, потому что радуется неизвестно чему. А жена советника, например, пьет его каждый день, и ни во что не считает, разжиревшая свинья.

— Учился он хуже всех, и не потому, что не мог, а ему нравилось больше всего изводить учителей. Впрочем, некоторым он ябедничал о шалостях товарищей, и когда видел, что

ему прощается за это собственная лень, то придумывал еще больше колючих, грубых мыслей. Он очень быстро пришел к сознанию, что весь мир виноват перед ним за все: за то, что он хромает, и за то, что часто донашивает куртки старших братьев. Больше же всего виноваты те люди, которые живут лучше, чем его родители. Если бы он родился раньше, то стал бы без сомнения революционером, и вместо того, чтобы помочь своей матери, стремился бы облегчить жизнь рабочих, скажем, убивая фабрикантов. Эта помощь выражается обычно в трескучих героических словах и таких же поступках, когда человек больше всего нравится самому себе; героизм преступен, а помощь глупа, потому что о действительных нуждах не имеется никакого понятия. К тому же идеалы быстро захлебываются стремлением сперва все разрушить, а потом все сделается само собой. Я уже говорила, что это в лучшем случае сражение с ветряными мельницами, только хуже, чем у Дон Кихота; у сброшенных на землю не остается сил для борьбы с настоящими великанами, которые сразу же вырастают на месте разрушенных мельниц. В результате не остается ни Дон Кихотов, ни мельниц, а хозяйничают только великаны...

— Этот четвертый не успел родиться во-время, чтобы стать хоть таким жалким Дон Кихотом. Он сразу перешагнул через него и решил стать великаном, тем более, что мельницы были уже сломаны. Великаны презирают пигмеев, неправда ли? Поэтому он перешагнул и через последнюю школьную скамью, приняв участие в беспорядках, а заодно и через старого учителя, который любил его отца, но не любил новых учений. Учителя арестовали, и он пропал без вести. Отец выгнал его из дому, и он быстро специализировался на загоне всех, кого презирал — а таких было большинство, — в те самые лагеря, где пропадали без вести. Он был недоучкой, и поэтому с апломбом судил обо всем — начиная от медицины и кончая звездным небом, и делал указания любому ученому — не по существу, конечно, а по восторжествовавшему учению, не имевшему ничего общего ни с наукой, ни с ветряными мельницами, ни, тем более, с дон кихотством. Остались одни великаны... говорю я, а ты можешь, если хочешь, определять их разным: тоталитаризмом, садизмом расизмом, конформизмом, идиотизмом... как хочешь. Я поклонница таблицы умножения, а не измов. В результате он кончил

веревкой на шее, но мог бы кончить и иначе потому что совершенно неизвестно, кто кого победил, и побеждает дальше, и куда девался смысл. Клип-клап, клип-клап, клип-клап!

Она равномерно завертела крыльями, ловко щелкая ими, как спицами бесконечного вязанья; ровный, успокаивающий стук, как биение пульса, тиканье часов, шум моря; это ход времени, неизбежный и отмечающий все лишнее, сводящий все сложности к нескольким простым истинам так просто и ясно, что мне невольно хотелось сказать самой: «клип-клап», только я не умела этого сделать.

— Ну вот, мы и намолодили с тобой достаточно, — лениво протянула наконец она, и заколыхавшись в кресле, тяжело поднялась. И мельниц, и зерен, и людей — много. Надеюсь, у тебя нет вопросов. Бесплодно изобретенная логика служит доказательством только ее отсутствия, но люди каждый раз изумляются, что все происходит независимо от нее. Согласись, что это и есть самый нелогичный образ мыслей? «Почему вышло так, а не иначе»? Потому что не иначе, а так, только и всего. Кстати, относительно рентабельности мельниц... есть скандинавская сказка о том, что на затонувшем судне все еще лежит волшебная мельничка, которая мелет соль, потому и вода в море соленая... Вот, наша рентабельность в этой соли и заключается, а без нее и хлеба не пекут: не стоит, невкусный будет. А мука может пригодиться по-разному: кто знает?

Я не успела даже заметить, выплыла ли она в дверь, или в окно, кивнув мне крылом на прощанье; при всей ее неповоротливости это случилось слишком быстро. Только чашка, из которой тетушка пила кофе, осталась стоять на столе так, как она поставила ее.



Над моим домом часто носятся ветры, и шумят в саду. Когда открываются двери на кухню, у кофейной мельнички на стене начинают быстро вертеться крылья: клип-клап. Хорошо, если бы мы всегда знали столько, сколько знают вещи! Или и это бы не помогло?

Во всяком случае, она у меня в большом почете. Но она скромна и не изрекает истин, как ее большая тетушка; она молчит и позволяет мне самой рассказывать ей иногда разное.



Люди больше любят говорить сами, да и редко кто решится выбраться с шумных городских площадей в усадебную глушь. Почему же не поговорить тогда с ветром, или с непослушной черемухой? Можно многое вспомнить с зажженной свечой, усювестить беспардонного крота, улыбнуться подсолнуху или сказать кофейной мельнице, что сегодня мы устроим праздник. Рассказы немногосложны, ответы — тем более. Люди, может быть, назовут это одиночеством. Но тетушка Мельница, я думаю, сказала бы совершенно категорическим тоном:

— Умнее от определений не станешь. Принимай все, как есть, и только. Таблицу умножения подзубри, и перемелешься. А уж там видно будет: из чего хлеб, а из чего пряник!

Может быть, во многом с ней и нельзя согласиться, но она права. Клип-клап!

ll.



## Копилка времени

Их было двое: мальчик и девочка. Оба были простыми, хорошими, обыкновенными детьми. У девочки торчали косички, туго стянутые перекрученными, как шнурочки, ленточками; она любила собирать теплые еще яйца в курятнике и знала не только те корзинки, которые были поставлены для кур, но и их тайные, почему то полюбившиеся им уголки, где среди камешков в ямке лежало только несколько соломинок; а еще девочка любила делать букеты для своей мамы и кукол: сперва она неумело обрывала слишком короткие стебельки, так что ее букеты можно было положить только в тарелку; потом научилась и часто рассматривала подолгу цветы, любуясь ими. При этом она пела песенки чистым и очень верным голоском, а если ей не удавалось запомнить слов, или вообще при каком нибудь огорчении, она плакала долго и навзрыд.

Мальчик был тоже, как многие: он умудрился разорвать даже кожаные штаны, повиснув на суку дерева; бросал камнями в соседних мальчишек, если не хотел, чтобы они играли на лугу, который считал своим; любил читать книжки и устраивать в жизни приключения, в которых был героем и не слишком заботился о том, что птицы часто оставались без гнезда на тех деревьях, куда он мог взобраться, а потоптанные им цветы тоже не росли больше.

Дома, где жили дети, стояли неподалеку один от другого. Луга и поля с разбросанными домиками, тянулись и дальше вдоль ручья, который гордо назывался речкой; с одной стороны его рос камыш и высокие кусты разных трав, так хорошо пахнувших летом, с другой стояли низкие, корявые ветлы с растрепанными ветками, и шла гладкая твердая дорога: — далеко, вверх по ручью, и в другую сторону, где уже начинались улицы города. Там дома жались друг к другу, сад был только около школы, а дальше земля ложилась под камень, и ее не было видно совсем.

Дети ходили в школу, читали книжки, играли и мечтали о том, что они будут делать, когда станут большими. В этом их мечты расходились: девочка хотела стать певицей в большом театре, чтобы ей бросали на сцену много-много темно красных роз; эта мечта была постоянной.

Мальчик то собирался скакать на лошади и стать полководцем, то предводителем разбойников, или знаменитым строителем и моряком; он часто предлагал бросить книжки и пойти посмотреть, «как бушуют волны на реке».

В ручье не было волн вовсе, и уж во всяком случае бушующих; но ведь всегда можно представить себе «как будто бы», неправда ли? А если стоящий рядом уговаривает поверить — то многие, и совсем не дети вовсе, верят этому очень часто.

Вот так и случилось однажды, что в теплый осенний день мальчик предложил девочке «пойти в жизнь». Он только что вычитал это слово в не совсем понятной книжке, и слово понравилось: в нем была притягивающая даль и неожиданная радость приключений.

День был самый подходящий для такой прогулки: осень уже кончилась, и поля ждали снега, тишины и звонкого мороза. Но ни снега, ни холода не было; над ржавой травой и голыми сучьями деревьев лежало, как туман, серенькое, неровное и очень теплое небо. Если бы земля не была влажной, на ней можно было бы долго валяться, а от того, что небо спускалось кое где, задевая за верхушки деревьев, за крылья пролетающих ворон и крыши домов, — потемневший ручей с высохшими палками камыша казался таинственным и новым, и корявые ветлы медленно шевелили тонкими нитками веток и

подмигивали интригующе: кто знает, что еще ждет идущих по дороге!

— Пойдем в жизнь! — сказал мальчик. Вот прямо — и совсем далеко! Так далеко, как мы еще никогда не бывали!

Девочка подумала, что дальше, может быть, около ручья найдется куст барбариса с неоципанными еще ягодами, или вообще те сокровища, которые можно набрать осенью: шишки, красивые кусочки коры, игольчатые шарики чертополоха. Кроме того, ей очень понравились красивые и торжественные слова. И так, взявшись за руки, они пошли.

Мы все ходим всю жизнь по разным дорогам, и по разному: одни не обращают внимания ни на чужие, ни на давно уже знакомые места, другие, — с интересом рассматривают каждую мелочь, и для них всегда находится что нибудь красивое и новое. Обычно все хотят как можно скорее пройти свой путь — и почти никто не думает о том, что в конце каждой дороги начинается другая.

Дети тоже шли по своему: мальчик смотрел в даль, девочка — вокруг себя. Мальчик высчитывал, сколько еще шагов до горизонта или до поворота, и часто предлагал: кто скорее добежит вон до того дерева? А девочка рассматривала старые ветлы и показывала ему, как у одной вырос нос картофелиной, а брови совсем косматые; и какой красивый цвет вот у этого листочка ежевики, совсем не тот, что у остальных; а вот здесь, в терне, птица оставила гнездышко, и теперь его может разметать ветер. И колючие шарики чертополоха, которые были так трудно срывать, она тоже нашла, и поколола себе пальцы, конечно, но зато их можно будет позолотить на рождественскую елку...

Дти зашли действительно так далеко, как никогда еще не бывали. Ручей стал гораздо шире; на нем появились даже маленькие волны, и разлились в небольшое озерко, отодвинувши полукругом дорогу. У озера росли большие, старые деревья, и плакучая ива обнимала колесо потемневшей мельницы, а рядом с ней стоял домик, весь обросший кустами роз, из которых выглядывало крылечко и неровные каменные плиты ведущей к нему дорожки. Но самым интересным была крыша — низкая и широкая, как будто ее бросили сверху, и она в некоторых

местах сползла ниже, до самой земли, а в других топорщилась вдруг, и из под нее выглядывало веселое окошечко.

— Похоже на пряничный домик из сказки, — сказала девочка.

— А ты не испугаешься, если из него сейчас выйдет старуха с клюкой? Только не реви, пожалуйста, я тебя защищу! — заявил мальчик, и уже собирался похвастаться, как он это сделает, как вдруг дверь отворилась, и на крылечко действительно вышла старуха. Правда, у нее не было такого длинного носа и торчащего зуба, как в сказках, и глаза тоже были не красные, а голубые, как небо весной. Седые волосы покрывал чепец, поверх красной шерстяной юбки был повязан передник, а шерстяной платок на плечах тоже не был таким дырявым, как у ведьмы.

— Куда же вы пошли так далеко, дети, что даже ко мне пришли? — спросила она.

— Мы пошли в жизнь! — вырвалось невольно у девочки, за что мальчик сильно толкнул ее в бок. Болтушка! Нельзя же говорить чужим все то, о чем они между собою разговаривают!

Но старушка не рассмеялась, а только продолжала покачивать головой, как маятник на старых часах, висевших у них на кухне.

— Далекая это дорога, — сказала она. — Вы наверно устали уже. Ну что же, раз добрались сюда, так отдохните.

Она немного посторонилась, пропуская их по дорожке к дому, и детям, как они ни храбрились, стало немного страшно. Пока все было как в сказке: а что, если и дальше будет так, и она запрет их в клетку, и съест, или просто превратит в белок или в камень?

Девочка первая увидела пушистую рыжую белку, соскочившую со стола, когда они вошли в комнату. Через полосатый половичек пробежал в дальний угол еж, а в углу кто-то захлопал крыльями, и под темной балкой потолка показались вдруг круглые, желтые громадные глазища и кривой клюв.

— Ах! — воскрикнули они оба и остановились.

Но было уже поздно. Старушка закрыла за собой дверь, и теперь было некуда бежать. В углу стояла старая печь с очагом под каминным колпаком; в очаге висел на крючке котелок, в котором варилось что-то. Старушка зачерпнула оттуда ложкой

горячее молоко, и налила две кружки им, а третью ложку вылила на блюдечко, в которое сейчас же уткнулся еж. Потом, взяв длинную палку, сняла крендели, висевшие над очагом.

— Теперь она обратит нас в зверей, — знаешь, как в этой сказке, о карлике с длинным носом, где белки готовили обед? — шепнул мальчик.

Крендель был теплый, поджаристый, хрустящий, и девочка, уже поднося его ко рту, остановилась, представив себе, что у нее вырастет такой же пушистый хвост, как у белки, сидевшей на краю стола, и тоже просившей кусочек.

— Спасибо, мы не голодны — громко сказал мальчик.

Старушка улыбнулась, и села напротив них, погладив белку.

— Не бойтесь, — сказала она, — я не обману вас в зверей, и не запру в клетку. Достаточно, что сами люди делают это, безо всяких ведьм. Можете есть и пить спокойно.

— Бывают добрые феи тоже, — убежденно сказала девочка и храбро принялась за молоко и крендель. Мальчик покосился сперва — не растет ли у нее хвост, но увидев, что ничего не случилось, взял два кренделя сразу. Таких вкусных им еще никогда не приходилось есть!

— Добрые феи делают подарки и исполняют желания, — пробормотал он не совсем уверенно и потянулся за третьим кренделем.

— Подарок я вам тоже могу сделать, — улыбнулась старушка. А в нем — исполнение желания, хотя этого придется еще долго ждать. Но у меня много времени, а у вас его тоже хватит.

Девочка давно уже выпила свое молоко, и внимательно смотрела на хозяйку. Поэтому она совершенно ясно увидела, как на столе сами собой появились две коробочки, а желтоглазая сова, тяжело махая крыльями, спустилась с балки под потолком и принесла в клюве серебряные ключики. Старушка дала ей за это кусочек кренделя, открыла обе шкатулки. Тут уж дети не могли выдержать, вскочили и подошли ближе.

Но внутри ничего не было. Это было просто две деревянные коробочки, гладко отполированные и совершенно пустые. В крышке у них было прорезано отверстие.

— Копилки, — сказал мальчик, и в голосе его слышалось явное разочарование. — И в дырку влезут только самые мелкие монетки . . .



— Ты тоже думаешь, что эти копилки для денег? — спросила старушка девочку. Но той давно уже казалось, что и седые волосы, и чепец надеты нарочно — так смеялось голубое небо в глазах старушки.

— Нет, — твердо сказала она.

— И добро и зло создают сами люди, запомни это, — неожиданно сказала хозяйка. — Но ты права. То, что нужно класть в эти копилки, гораздо дороже денег...

— Что же это?

— Время. Вот, я запираю их снова на ключ и отдаю его сове. Она сбережет. А вы получаете каждый свою копилку. Берегите ее тоже. Вы будете расти, увидите жизнь и узнаете много хорошего. Когда же у вас случится такая хорошая минута, которую вы хотели бы сохранить чтобы потом пережить снова, — положите ее в копилку. Просто скажите: эту минуту я прячу, как воспоминание...

— А потом? — спросили оба в один голос.

— А потом, когда настанет срок, вы придете ко мне, принесете свои копилки, и сова отдаст ключ. Вы откроете их и вынете ту минуту, которую захотите.

— Только одно желание?

— Только одно. Но и это уже очень много. Поймете, когда вырастете.

— А когда мы снова сможем придти сюда? — спросил мальчик, которому больше всего понравились вкусные крендели.

— И об этом узнаете. Всеу свое время.

Дети взяли коробочки, поблагодарили, простились и ушли.

Дорога домой показалась им еще длиннее, и вернулись они только к вечеру, так что о них уже беспокоились, но они просто сказали, что заблудились. Про себя они решили, что не будут рассказывать никому об удивительной старушке.

— Самое интересное у нее это белка и еж, и больше всего крендели, — решил мальчик. — Остальное скучно. Я не верю, что в копилку можно положить счастливую минуту. Как это так? Я бы, например, хотел отдуть еще раз этого косоглазого, который таскал у нас из сада вишни. Однажды я ему здорово дал, хоть он и выше меня! Так как же — обоим нам влезть в эту коробочку, что ли? Она просто рассказывала нам сказки, но крендели у нее превкусные, от-дать спра-вед-ли-вость!

Он гордился, что может употреблять такое умное слово, и повертев в руках коробочку, бросил ее в ящик стола.

Девочка поставила свою на подоконник, где стояли ее любимые цветы, и каждый раз, когда поливала их, вытирала с нее пыль. Когда весною на окошке расцвели розы, она часто подносила коробочку к цветку и говорила: «Хочу еще много-много раз видеть, как расцветают розы!» Однажды роза осыпалась, и один лепесток упал прямо в отверстие крышки — и теперь девочка была твердо уверена, что ее желание исполнится.

Конечно, они собирались пойти еще раз к старушке, весной, когда станет теплее, но за зиму забыли об этом.



Время шло. Дети выросли и кончили школу. Мальчика послали в большой город на берегу моря, куда приходило много кораблей, а в складах лежали горы товара, а девочку отправили в консерваторию учиться пению.

Прошло много лет прежде, чем они встретились снова.

Молодая девушка пела теперь в опере. Ей еще никто не бросал ни темно красных, ни других роз на сцену, потому что пока она пела в хоре, вместе с другими, и никто не слышал, какой у нее собственный голос. Но зато она узнала многое, и увидела, как надо много и тяжело работать, чтобы добиться чегонибудь.

Мальчик, с которым она играла раньше, стал теперь молодым человеком и служил в фирме, которая вела торговлю с заморскими странами. Этим летом он получил отпуск и приехал домой, чтобы повидаться с больным отцом. Но он не любил больных, и не знал, что ему с ними делать.

Немудрено, что у него нашлось зато много времени для своей соседки. Сперва он пришел, чтобы посмотреть, что же вышло из девочки с косичками, а молодая певица понравилась ему еще больше. Они вспомнили свои прежние игры и огорчения, и снова стали гулять вместе по тем же полям, как и раньше. Только теперь он не лазил на деревья, а помогал ей рвать цветы для букетов, которые она собирала попрежнему.

Конечно, он рассказывал ей о своих приключениях в чужих странах, о пароходных грузах и большом значении торговли портового города для целой страны. Как рос хлопок, копра или

кофе, грузившиеся в пароходные трюмы тюками, как ловили рыбу, приходившую в бочках, и как делались бесчисленные товары в ящиках — интересовало его вообще только вскользь — но сейчас, чтобы сделать свой рассказ интереснее для нее, он припоминал чужие цвета и запахи, обычаи и песни.

Но о магической силе цифр, колонок с нулями, в которые входили все эти тюки, ящики и бочки, вместе с пароходами, людьми, ветром и солнцем, землей и кровью — и о силе денег, катившихся вокруг и сверкавших за стеклянными окошечками банков, — он умел рассказывать тоже так, что это становилось занимательным.

Ее рассказы интересовали его меньше. До сих пор он редко бывал в театре и видел сцену только из зрительного зала: оркестр гремел и замирал пианиссимо, и на его фоне, как солнечный луч среди листьев, стрелою взвивался человеческий голос. Ученый сосед рядом, снисходительно морщась, скрипел вслух: «Не плохо, совсем прилично даже, но если бы вы слышали, как знаменитый Донати брал в этой арии верхнее ля . . !»

Он видел огни и блеск сцены и знал, конечно, что за кулисами улыбки и парча выглядят иначе. Но он и не хотел этого знать. Его не интересовало также, каким упорным трудом достигается верхнее или нижнее ля, — и сколько надо передумать, пережить и перемучиться певцу, прежде чем он сможет пропеть совсем простые и всем известные слова так, чтобы даже у критиков дрогнуло сердце. Но он любил, когда она пела для него. А она пела хорошо, все лучше и лучше, — потому что теперь они любили друг друга, и весь мир стал для них прекраснейшей из всех песней.

— Мне кажется, что теперь я буду совсем иначе петь — сказала она в солнечный день, встретив его на луту, где собирала ромашки. Он шел навстречу ей: а она стояла, затаив дыхание, прижимая к груди громадный букет сияющих белых цветов с солнечным глазком посредине. Эти ромашки расцвели ведь только для того, чтобы она в каждой цветке видела свою любовь и то громадное счастье, которое держала в руках.

— А я не понимаю, — сказал он, — почему я вижу вдруг, как прекрасны эти простые полевые цветы, и как ты права, придавая такое значение их красоте, и почему я никогда не

замечал этого у своей невесты. Она ведь красивее тебя и лучше одета, потому что дочь богатого купца в нашем городе.

— Разве она твоя невеста? Ведь ты говорил, что не любишь эту красавицу? — спросила девушка, и несколько ромашек, задрожав, упали на высокую траву.

— Ну да, — ответил он — но когданибудь мне может быть придется на ней жениться. Дело в том, что ей очень хочется иметь меня своим мужем, а я не знаю, смогу ли отказаться от этого... Но бросим говорить об этом, будущее покажет, а сегодня такой прекрасный день, что я шел по дороге и посылал к тебе всех птиц, которые пролетали мимо. Вот как будто брал в руки теплый, легкий комочек пуху — и бросал его на ветер: отнеси привет моей певунье! Они долетали до тебя?

— Знаешь, — задумчиво сказала она, садясь с ним на траву, — и вчера, и сегодня, и завтра, — самые счастливые дни в моей жизни. И я знаю, что такое пооще счастье может быть у меня только с тобой. Один певец в нашем театре говорил, что любит меня, и принес мне темно красные розы. Но я спросила его, сможет ли он стать мне братом тоже, — он сперва рассмеялся, а потом рассердился. А вот ты был мне и раньше братом, и всегда останешься им, правда? Все люди, которые живут в мире, для меня в тебе — а это так много, что иногда мне кажется, что я умру от счастья!

— Конечно, я всегда останусь твоим братом — сказал он. — Что бы то ни было. Только с тобою я понял, как можно слить воедино весь мир!

— И вот эти слова, эту минуту я хочу положить в свою шкатулку! — воскликнула она, и на ее ресницах задрожали радостные слезы. — Помнишь, как мы однажды детьми получили от старушки волшебные копилки? Где твоя? Я никогда не расстаюсь со своей, она у меня талисман.

Он рассмеялся.

— Как же, помню. Мы заблудились тогда, и приняли ее за ведьму. У нее жила ручная белка, а я боялся, что у меня вырастет хвост, если я съем крендель. Но крендели оказались необыкновенно вкусными. Эта забавная старушка умела действительно печь, ей бы булочную открыть следовало.

— У нее жила еще сова за печкой, а кусты роз тянулись на крышу дома... А помнишь ее глаза? Никогда не видала таких голубых — как небо весной!

— А у тебя, как вода в ручье — сказал он, и поцеловал ее.

— Знаешь что? Пойдем, навестим ее! Может быть, она жива еще? Поблагодарим ее еще раз за коробочки. Это была настоящая сказка, и в конце концов она хотела научить нас, чтобы мы хранили воспоминания, как самое хорошее в жизни, чего никто не может отнять.

— Да, эта привычка сохранилась у меня и до сих пор, — сказал он. — Вот и сейчас, за последние дни, я часто думаю, что когданибудь, гденибудь, за окном будет выть ветер, на улице холодно, дождь, а я буду сидеть в кресле, передо мной на столе бутылка коньяку, и я налью бокал, посмотрю на свет, чокнусь, как будто с тобой, и снова увижу перед собой и твои глаза, и вот этот день, и ромашки на лугу, и скажу: хорошо мне было с тобой, певунья!

Он улыбнулся и смотрел на нее, любуясь, а у девушки вдруг сжалось сердце, так больно, что перехватило дыхание и захотелось крикнуть... что? Что этого не должно быть, что ему надо не вспоминать о ней, а всегда быть вместе, всегда...

Но она училась улыбаться на сцене, улыбнулась ему и теперь, взяла его под руку, и они пошли по дороге.

Вода в ручье плыла так же, как и раньше. Только кусты стали выше и раскидистей, а ветлы растолстели еще больше и строили такие же рожи проходящим, несмотря на солнечный день. Но день стал уже клониться к вечеру, и закатное солнце розовыми лепестками устилало дорогу, а ни старой мельницы, ни озера, ни дома под смешной пряничной крышей, где жила старушка, не было.

— Но ведь дорога идет вдоль того же ручья! — воскликнула девушка.

— Куда же все это девалось? Неужели мы зашли тогда еще дальше?

— За столько лет могло перемениться многое... ответил он. — Тогда это было для нас озером, сказкой. А теперь мы может быть и не заметили маленькой лужицы. И старушка наверно давно уже умерла, а ее домишко снесли совсем. Ну что ж, про-

гулка в прошлое не удалась. Пойдем обратно, пока у нас есть такое счастливое настоящее!

Они возвращались очень медленно, по серебрянной лунной дороге и эта ночь тоже была прекрасным воспоминанием, которое девушка положила в заветную шкатулочку, вернувшись домой. На следующий день она спросила — слышал ли ктонибудь о старушке. Но никто даже и раньше не знал ее, и все только качали головой. Дети слишком много читали в детстве сказок, вот им и казались они вокруг!

Но сказки бывают не только в детстве, и многое только кажется — и потом.

Молодой человек вернулся в свой город, к работе и — невесте. Да, красивой, богатой и избалованной девушке очень нравились его тонкие брови и веселая молодая улыбка. Отказаться от свадьбы значило бы испортить себе карьеру — конечно, он не мог этого сделать. Но он очень любил свою певунью — и с трудом вырывал теперь ее образ из своего сердца: так, по крайней мере, он говорил ей. Она пела эту зиму в театре того же города; иногда они встречались, — и каждый раз он жаловался ей, как ему тяжело с капризной, избалованной купеческой дочкой, в пустом и холодном доме, где всегда шум и масса гостей. Но он не называл ее больше своей певуньей — да и как бы он мог теперь это сделать?

Она должна была петь каждый вечер в театре. Теперь она пела уже так хорошо, что не могла больше потеряться в хоре. Нет, у нее были свои слова, она стояла впереди, у самой рампы, и видела иногда в ложе сбоку молодую женщину в красивом платье, и рядом с ней своего названного брата.

— Ты ведь останешься моим братом? — спросила она его перед свадьбой.

— Конечно, — ответил он. — Если мне тяжело, я ни с кем не могу говорить так, как с тобой.

— «А если я не могу вынести своего горя?» — хотела спросить она, но остановилась, чтобы не расплакаться — как девочкой, навзрыд, когда он смеялся над нею. Теперь ее слезы только раздосадовали бы его.

Нет, он не стал ей братом. Он даже ни разу не спросил, как она справляется со своей болью. Но он считал несчастным прежде всего самого себя: его жена привыкла веселиться и тратила

много денег. Он не сумел научить ее ничему другому, и поэтому был всегда недоволен всем. Люди часто обижают других — и сердятся на них же за это. От ошибок происходит много зла в жизни, но еще больше — от того, что в этих ошибках не хотят признаться.

Над портовым городом мчались зимние бури, с дождем и снегом; молодой человек скучал в своем богатом доме; а певунья смеялась или плакала — на сцене, и пела красивые песни. Возвращаясь к себе домой, она только плакала — и ждала, что когданибудь ее названный брат придет к ней и скажет ей доброе слово. Но ему и в голову не приходило это сделать, и даже когда она уехала весной, он не зашел проститься — был слишком занят.



Так они и не виделись больше, много лет. Сперва она вспоминала его каждый день, потом — только, когда пела. Песни звучали от этого лучше — так говорили ей те, кто их слушал, и она улыбалась, как улыбаются скрипичные мастера, знающие секрет: разбитые и склеенные скрипки звучат нежнее.

Он тоже улыбался — но иначе, криво морщась, когда чтонибудь напоминало ему о ней. Это бывало редко. Несчастье составляло главное занятие в его жизни, и он не мог обращать при этом внимания на других.

Но когда старик отец умер, сыну пришлось приехать в маленький домик над ручьем, чтобы распорядиться наследством.

Его плечи стали уже тяжелыми и круглыми, а вместо сверкавшей раньше молодой улыбки, в волосах блестели теперь серебряные нити, и голос привык быть ворчливым и раздраженным.

Он, конечно, не потрудился бы зайти в соседний дом, узнать о подруге детства — но она сама встретила его на дороге. Теперь она постоянно жила здесь, в стороне от больших городов, и радовалась тишине своего детства. Вот и сейчас она подошла и с улыбкой протянула ему руку.

— Здравствуй, — сказала она, — и ее голос прозвучал ему давно забытой песней. Он даже сам не заметил, как взял ее под руку, и они пошли по дороге вдоль ручья — как раньше, давно-давно...

Она тихо улыбалась, слушая его сбивчивые жалобы. А он стал говорить вдруг, захлебываясь, сразу обо всем: как у него болит сердце по ночам, и в новом доме еще скучнее жить, чем в старом, и что у него нет друзей, и его никто не понимает.

— Никто не может понять! — горько воскликнул он, останавливаясь. — Никому нет дела до другого!

— А ты сам подумал когданибудь о других? И не тогда, когда тебе было это интересно, а просто так, человека ради? — тихо спросила она, не глядя на него: ей было стыдно, что у того, которого она так любила, не найдется на это ответа. Но повернувшись все таки к нему, она вдруг остановилась.

— Посмотри! — сказала она, — посмотри, где мы! Ведь это то озеро, и дом под пряничной крышей, где жила старушка, которая подарила нам копилки для времени... помнишь? Я хрюню свою до сих пор, но ты, конечно...

— Боже мой, не таскать же за собой всю жизнь всякий детский хлам, — проворчал он. — Но это место мне как будто бы действительно знакомо...

— Странно, что мы не нашли тогда, когда пошли нарочно искать, — задумчиво начала она, но вспомнив, когда это было, внезапно оборвала, и чтобы скрыть свое смущение, быстро пошла по дорожке к старому дому.

Осень еще только чуть подкрашивала листья, и старый дом с широкой пестрой крышей стоял среди громадных кустов цветущих роз, как в букете. А на пороге дома их ждала улыбающаяся старушка: в чепце на седых волосах, в красной шерстяной юбке под чистым передником, и глаза у нее были голубые, как небо весной...

— Что за странность, — пробормотал он, невольно идя за подругой следом.

— Так, так, — сказала старушка, посторонившись, чтобы пропустить их, как старых знакомых. Она закрыла дверь и села напротив них за столом, внимательно разглядывая обоих. — Ну вот вы и пришли — когда надо. Теперь я могу иначе поговорить с вами, больше не будете бояться, что я обращаю вас в белок. А может быть, это было бы совсем не так уж плохо?

И она тихо рассмеялась, погладив рыжую белку, вскочившую на край стола.



В домике все было попрежнему, как на картинке в найденной вновь старой сказке: по полосатому половичку протопал еж, в очаге трещал огонь, а наверху, в темных балках пряталась большущая сова. Она бесшумно метнулась вдруг вниз и уронила из клюва маленький ключик, звякнувший о доску стола.

— Вот ключ, — сказала старушка. — Ну, а ваши копилки где? Ты то, певунья, свою бережешь, знаю. А где твоя копилка?

— Позвольте, — сказал он, смущенно откашливаясь. — Я вижу, что у вас хорошая память, что редко в ваши годы, но... вы, конечно, постарались внушить нам, когда мы были детьми, нечто наставительное, и это было очень мило с вашей стороны, но теперь мы давно уже не дети, и...

— Позволь, позволь, — перебила его старушка. — Годы и то, что за них сделано, это ты считай у себя, а моего времени не трогай. Уговор дороже денег — тебе, как купцу, тоже знать полагается. У нас же был уговор такой: я вам делаю подарок, и первую половину его — копилку времени, вы получаете сразу, и должны беречь. А вторую половину — ту счастливую минуту, которую вы туда положите и захотите пережить снова — я подарю вам, когда вы придете. Ну вот, вы и пришли. Знаю, что не искали дороги ко мне, а она сама вас привела — как и в первый раз. Так и должно быть. Но вот спрашиваю: как же ты сберег свои мечты, детство свое? Что у тебя сохранилось с тех пор? Где твоя копилка? Затерялась? Так вот и годы прошли. А ведь было у тебя много, чего не следовало терять: глаза живые и ясные, — многое мог бы увидеть, запомнить, сберечь... умел ты раньше смеяться и радоваться, умел тосковать и любить, умел хотеть и добиваться — только чего добился? Ну, да ладно. Не выучишь тебя теперь. Все таки — раз уж удалось тебе прийти во второй раз — прошу потерянную копилку, но при одном условии: вспомни все счастливое время, которое у тебя было в жизни — и выбери минуту. Только не ошибись. Выберешь правильно — подарю тебе ее время снова. Не угадаешь — не поспевай, уйдешь с пустыми руками, как и пришел.

С взрослыми людьми очень трудно говорить о простых и волшебных вещах. Они не верят, конечно, хотя им интересно: они снисходительно улыбаются, но немного смущены, и часто чувствуют себя неловко.

Но есть и другие: те верят и видят сразу, легко и просто входят в сказку, как в свой дом, и знают заранее, что это и есть настоящая правда.

Перед старушкой за столом сидели разные люди. Один улыбался, не зная, как ему держаться, хмурил лоб — и невольно рылся в памяти: конечно, хозяйка этого забавного домика говорит глупости — у старых людей всегда странности. Однако, почему не подумать все таки: а что же захотелось бы пережить снова, если бы это было действительно возможно?

Он всерьез задумался, и совсем не замечал, что на него смотрит не только старушка, но и подруга его детства, певунья его молодости — вместе с которой затерялась у него и песня, и счастье. Она даже прижала руки к губам, чтобы с них не сорвалось неосторожное слово. Но не смела его сказать — старушка предостерегающе подняла палец: каждый должен решать сам, что ему делать.

— Ну вот, я кажется, нашел самое счастливое время в своей жизни, — сказал он наконец. — Я тогда служил еще в фирме, и меня послали в дальнее плавание наладить доставку грузов. В каких только гаванях я не побывал! А южные острова, и красавицы там, и песни! Во всем у меня была удача: дела все сделал как нельзя лучше, девушки на меня заглядывались — любую бери, в карты сяду играть — обыграю всех, да и не в чем другом никому не уступал, всегда был впереди всех, а главное: ни долгов, ни обязанностей, скуки этой. Делал, что хотел, и был свободен, как ветер! Что ж, если вы и впрямь добрая фея — ха-ха — подарите мне этот год жизни снова, спасибо скажу!

— Ну, а ты что скажешь, певунья? — медленно спросила старушка.

Та, с первых же слов, опустила руки, и смотрела теперь в окно, в котором качались ветки роз. Сейчас она прямо взглянула на старушку и также медленно спросила:

— А память — остается при этом?

— Памяти — покачала та головой — никто зачеркнуть не может.

— Памяти — улыбнулась певунья — и нельзя отдать! Хорошего в жизни у меня было много, больших и маленьких радостей. Есть они и сейчас, и будут еще. А самое счастливое время в моей жизни было тогда, когда я больше всего любила вот этого

самого человека, и верила: что бы то ни случилось, останется он мне братом. Только если теперь снова пережить это время, то я буду знать, что будет потом, и каким он окажется, знать буду — и верить бы не смогла. Нет, я не напрасно мучилась так долгие эти годы. Я не хочу ничего возвращать — не надо.

Старушка встала, подошла к ней, обняла и поцеловала ее.

— Да, — сказала она — ты не напрасно получила свою копилку. Ты научилась кое чему в жизни. Иди с миром!

И повернувшись к ее спутнику, прибавила:

— Угадать тебе не удалось. Самое счастливое для тебя время оказалось пустым. А раз ты ничего не сберег и не скопил — нечего тебе и возвращать. Прощай.

В старом домике захлопнулась дверь и ее закрыли розовые кусты. А когда, пройдя несколько шагов, он почему то обернулся — то показалось, что кроме кустов, на берегу ничего и нет.

Он был раздосадован, и шел тяжело: у него от ходьбы была одышка. А бывшая его подруга шла впереди, легко и быстро, хотя по щекам ее катились слезы. Но она пела. Тихую, хорошую песню, от которой на дороге становилось светлей.

## Лесная почта

Звали его «Рыжий дурак», и он не был замечателен ничем.

Рыжий Дурак служил на почте. Маленький низкий дом стоял у вокзала, на самой окраине предместья большого города. В окно, особенно, если светило солнце, совершенно ясно была видна через поля темная полоса леса. Он часами сидел у окна, разбирая письма. Их приходило немного, и поэтому оставалось время, чтобы подумать. Обычно почтари в таких маленьких почтамтах знают не только всех, кто пишет и получает письма, но и их содержание, и обсуждают это с другими. Но его недаром считали дураком. Когда у него покупали марки, он только слегка приподнимался, протягивая их, ободряюще улыбался и говорил, принимая деньги:

— Пишите, пишите, вы наверно получите хороший ответ!

Если же ктонибудь приходил за письмом, то он с сияющими глазами бережно перекидывал сложенную пачку, выхватывал нужный конверт, и легко беря его на ладонь, как птицу, говорил:

— Пожалуйста, пожалуйста, вы наверно получили хорошее письмо!

Он говорил это всем: широкобедрой темноглазой служанке из пивной, седому офицеру, ходившему с потертым костьюлем, краснолицему мяснику с закрученными усиками, и бледной девушке с накрашенными губами, которая все время кашляла и молчала.

Письма, считал он, должны приносить радость: сколько хороших слов можно написать друг другу, и как должен радоваться каждый, что его не забыли, помнят и любят, и вот кусочек сердца ему в этом письме!

Сам он никогда не получал писем.

Когда наступало время закрывать почту, он незаметно вздыхал и старался придумать еще чтонибудь, чтобы остаться подольше: еще раз разглаживал оставшиеся письма, рассматривая некоторые марки, и думая о том пути, который им пришлось или придется проделать. Как замечательно переплетаются нити человеческих жизней, и как жаль расставаться с ними! Но идти все таки надо...

Он громыхал замком и уходил, сутулясь в своем старомодном сюртуке, ставшим уже зеленоватым от многих лет. Шляпы он не носил вовсе, а волосы его, довольно длинные и всегда слегка растрепанные, давно перестали в сущности быть рыжими и только казались такими от очень голубых и восторженных глаз; не то молится человек, не то заплачет сейчас, и от чего — неизвестно. Девченки, поэтому, часто хихикали ему вслед.

Зимой Рыжий Дурак часто сидел вечерами у своей печки. На столе лежал большой черно-белый кот и строго следил, чтобы хозяин не взял лишнего кусочка колбасы, потому что картошки кот не ел.

По праздникам Рыжий Дурак брал палку и уходил через поля в лес. Пригородный, прорезанный дорогами, тропинками, полями, но все таки лес: всегда живой и очень большой друг — в особенности, если нет других. Лесу Рыжий Дурак радовался не меньше, чем письмам.

Вот, собственно, и все, что можно сказать о его жизни.



Сегодня в лесу был большой день. Рыжий Дурак сразу почувствовал это, как только свернул со сжатого поля на лесную дорогу. В октябре такие по летнему теплые, но уже по осеннему прозрачные дни бывают часто. И небо такой сияющей голубизны тоже часто звенит над полями. Трава и деревья, согретые солнцем, тоже пахли остро и знакомо, как всегда. Но Рыжий Дурак прошел несколько шагов и остановился. Кто-то прощуршал за

деревьями сбоку. Еще раз. Еще. Это шаги и шопот, а не зайцы в кустах!

Он широко раскрыл глаза, вбирая в себя все вокруг, и когда вдруг увидел и понял, то у него перехватило дыхание. Почта в лесу! Лес посылал письма — всем, всем, всем!

И важный золотистый дуб, и нарядный звездчатый клен, и багряный бук, и веселая березка... Боярьшник в своей изящной резьбе, королевский алый бересклет, задумчивый ясень — и вяз — все, все, все!

Ветер в мягких туфлях легко и тихо ходил по лесу, подхватывая письма. Желтые, розовые, красные, в тысячах оттенков, и тысячи слов вспыхивали на них, и ведь все они были предназначены кому-то!

Изогнувшись, подпрыгивая, стараясь быть таким же легким, как ветер, Рыжий Дурак бросился подбирать письма.

— И мне письмо! И мне! — шептал он и ловил листья, задышаясь от радости, что весь лес посылает их, каждое дерево, и все получают их теперь, все!

«Мне так холодно без тебя, — писала березка. — Помнишь, как ты обнимал мои колени?»

«Песни отчаяния — лучшие песни» — цитировал клен Альфреда де Мюссэ.

«От дома твоего, над которым такая же, как я, шумела когда-то, посылаю тебе привет» — старательно выводила липа.

Тем, кто проходил когданибудь по лесу, и смотря на деревья, вспоминал, радовался, плакал, — а кто не делал этого? — лес посылал сегодня письма.

Рыжий Дурак не мог унести всех. Их было слишком много. Но он знал, что ветер — надежный почтальон. Он собрал только громадную охапку самых нарядных, красивых листьев и хотел уже уходить, как вдруг заметил елку. В лесу были, конечно, и сосны, и ели, но сегодня он не обратил на них внимания, а вот эта стояла на краю полянки, одна, и как-то беспомощно протянула ему ветку. Среди нарядных осенних деревьев ели особенно грустны, но не это поразило его, а другое: она ведь не может послать письма, как же ей ответят? От этой мысли у него даже забилось сердце, но он пересилил себя, и улыбнулся ей привычной ободряющей улыбкой, погладив мягкие иголки:

— Ты наверно получишь очень хорошее письмо! — сказал он обычную фразу и не оглядываясь, вышел из леса.



Этот день был воскресным, и на улицах, в парках, на бульварах в городе много людей видело сутулого человека с восторженными голубыми глазами и охапкой листьев на руках. Одной рукой он прижимал их к груди, но очень неловко, они падали и шуршали. Он приглядывался ко всем прохожим и останавливал их, робко улыбаясь и показывая на облетающие деревья:

«— Сегодня в лесу большой день, — говорил он всем. — Сегодня лесная почта. Все деревья посылают письма, и вы получите тоже. Попросите письмо. Видите? Вот это вам. Возьмите! А вот еще . . . нет, упало мимо. Оно адресовано другому. Но вы получите тоже. Подумайте, от кого, о чем вы хотели бы получить. Ведь есть же у вас человек, который вас любит, здесь или где нибудь, сейчас или . . . это все равно. Сегодня все получают весть о самом дорогом и близком. Только ответьте на письма. Только не забудьте ответить!»

Некоторые смеялись. Другие не понимали, и пытались отмахнуться от него или подать ему что нибудь, как нищему. Один суровый господин в дорогом пальто выругал его даже. Но поэты и влюбленные, которые тоже смотрят другими глазами — понимали и улыбались, и поднимали руки, чтобы подхватить падающие листья.

Те же из поэтов, которые были и влюбленными — а кто из них не бывает? — разнесли весть о лесной почте по всему городу, и у многих блестели глаза и улыбались губы навстречу осенним листьям, — а это как раз то, для чего и существуют поэты.

Когда в стекла бился дождь, и их заволакивал туман, Рыжий Дурак переставал разглаживать свои конверты, и напряженно думал: будет ли отвечено на лесную почту? И вспоминал о елке, не пославшей письма.

Перед Рождеством выпал снег, и он видел из окна, как по белой улице проносили в каждый дом елки и принимались их украшать. Той между ними не было — он узнал бы ее.

Когда наступил Сочельник, он не мог больше выдержать. Он сунул в карман заранее приготовленный пакетик, и погладил кота. Кот вышел за ним на крыльцо, понюхал туман, и, тряхнув лапой, остался.

Рыжий Дурак пошел один. На поле лежал глубокий снег, над ним стоял белый туман, и только полянками выплывало вдруг сверху темно-синее небо, запорошенное луной, как снегом. В лесу было очень тихо. Иногда только вздрагивала ветка и стряхивала белую пыль. Елка стояла попрежнему, беспомощно протянув ветку.

— Подожди, сейчас я расскажу тебе все, — громко сказал Рыжий Дурак, и развернул свой пакетик. Медленно, рассчитывая каждый эффект, он прикрепил подсвечники и зажег свечи. Елка вспыхнула огнями и замерла от счастья, совершенно замороженная своей красотой. Из-за деревьев на полянку высунулись любопытные мордочки, и кто-то шумно вздохнул в глубине леса. На белой поляне, в легких клубках тумана, пронизанного луной, горела живыми огнями свеч совершенно сказочная елка.

— Я принес тебе ответ, — сказал Рыжий Дурак торжественным тоном, и опустился на колени. — От самого красивого дерева в городе. Все люди и деревья в парке считают его настоящим принцем. У него серебристо атласный ствол и парчевые розовые листья. У него острые, как шпага, шипы и ягоды, как кровь. Весною, когда он будет цвести, он вспомнит о тебе тоже, потому что любит тебя, и прислал тебе ответ, хотя ты и не можешь писать писем.

Он бережно вынул из кармана большой конверт, а из него — ветку засушенных розоватых листьев с кистью сохшихся, но все еще красных ягод, и положил ее перед елкой.

Потом поднялся с колен, и медленно пошел обратно, часто останавливаясь и оглядываясь назад. Огоньки свеч расплывались в тумане — а может быть, слезы мешали ему видеть? Он удерживал их, и только отойдя уже далеко в поле, в совсем густом тумане, где лес не мог больше слышать, упал на снег и заплакал так горько, как редко плачут даже совсем одинокие люди.



Через несколько дней Рыжого Дурака увезли в больницу. У него было воспаление легких и он умер так же тихо и незаметно, как и жил. Все считали, что он в бреду, но он ни на минуту не терял сознания. Он только умолял о чем то восторженными глазами и шептал упорно и страстно:

— Ответьте на письма! Пожалуйста, не забудьте ответить!



## Лоскутница

Так звали ее все, и она вполне заслуживала это имя. Во-первых, она была очень бедна, и ее юбка, и даже платок были постоянно в заплатках, а во-вторых, она занималась тем, что собирала всевозможные лоскутки и делала из них разные вещи на продажу. Бедные люди покупали у нее одеяла и подушки, сшитые квадратиками или звездочками, коврики с картинками и куклы для детей.

Богатые не покупали у нее ничего, конечно, но зато давали ей старые платья, и были рады, что избавились от тряпок, а вместе с тем помогли скромной девушке заработать себе на жизнь. Она была всегда так искренно благодарна, что ей не отказывали даже самые скупые хозяйки в городе, даже жена самого богатого купца, у которой был такой большой дом — и такой красивый сын.

Этот сын видел однажды, как мать бросила ей его старую зеленую куртку, и девушка с трудом упрятала ее в свой мешок, который был и без того уже полон. Но она легко подняла его на плечи, поклонилась еще раз, и пошла, улыбаясь так радостно, что он даже заинтересовался.

— Почему ты радуешься старым тряпкам, Лоскутница? — спросил он, нагнав ее на улице.

— Ах, — сказала она — в них так много интересного! Ведь это целое богатство. Вот, например, твоя зеленая куртка: мне

давно уже нужен был кусочек зеленого мха для коврика, который я делаю. На нем елка, и мухомор, в котором живет гномик: только мха кругом мне еще не хватало, а теперь вот есть и этот кусочек. Останется еще и на камыш для того коврика, где летят дикие утки. Видишь ли, когда люди посмотрят на них, то они и сами представят себе чтонибудь красивое — и это поможет им работать или заснуть.

— Но ведь проще шить из готовой, нерезанной материи — воскликнул он.

— Материя стоит много денег, а я бедна. Но я и так очень довольна. Я часто думаю, когда иду в город со своим мешком: что мне дадут сегодня? Приятно именно ждать. А потом тороплюсь домой, чтобы рассмотреть все как следует, и долго думаю, на что может пригодиться: на кусочек неба, например, или платье для прекрасной дамы... Настоящие портные не могут так придумывать, как я: они должны шить то, что потребует заказчик, и притом только платья. А я могу сделать все: и лес, и зверей, и птиц — все красивое!

Сын купца никогда не слышал таких слов, и ему было непонятно, как может глупая девушка радоваться старым тряпкам. Но она радовалась, а у них в доме постоянно жаловались на чтонибудь: отец кричал, что его разоряют налоги, и товары стоят слишком дорого: мать ворчала на слуг, которых считала ворами и лентяями; даже его сестра постоянно жаловалась на то, что ей нечего надеть, хотя у нее был целый шкаф красивых платьев; во всяком случае, он никак не мог себе представить, чтобы кто-нибудь у них дома, да и вообще среди его знакомых во всем городе, мог бы радоваться такой совершенно ничтожной и ничего не стоящей вещи, как лоскуток материи.

Поэтому он, незаметно для самого себя, шел с ней рядом всю дорогу, — а для этого надо было пройти через весь город и выйти на самую дальнюю окраину — к лесу. Кусты придорожного шиповника окружали и дом; около самого окна росло вишенное дерево, а на ступеньках крыльца сидела большущая кошка.

Он долго просидел у нее, слушая рассказы о цветах и листьях, феях и гномах, королях и рыцарях. Забавно, все таки: она улыбалась при этом так радостно, как будто ее тряпичные изделия предназначались для настоящего двorca.

Он стал заходить к ней, и однажды принес даже кусок голубой ленты. Ее глаза вспыхнули и стали точь в точь такого же голубого цвета: может быть потому, что она успела полюбить его за это время, и думала, что он любит ее тоже. Он, однако, не говорил ей об этом, и понятно, почему: сын самого богатого купца в городе, и она, тряпичница-лоскутница!

Она часто задумывалась теперь над своей работой: разноцветные лоскутки казались жалкими и тусклыми, и воткнув иголку куда попало, она бросала работу: нет, эти жалкие сказочные картинки только для нищих!

Однажды осенью ей стало так грустно, что даже захотелось заплакать. Она закрыла лицо руками, но вдруг подняла голову и прислушалась; с дороги донеслись звуки труб: король выехал на прогулку!

Лоскутница вскочила, накинула на плечи самый лучший платок, и выбежала из дому. Королевский замок стоял на горе, высоко над городом, и совсем на другой стороне: король очень редко проезжал здесь, а это было чудесное зрелище! Она спрячется за кустом шиповника, скороходы не заметят ее, и она увидит рыцарей, прекрасных дам, и короля, который сверкает, как солнце!



Серебряные трубы звучат за поворотом; от топота и звона несутся пыль столбом! Вот мчатся скороходы, дорогу расчищая, чтоб ктонибудь случайно не сшибся с королем!

Тра-ра бум — дорогу! Тра-ра-бум — дорогу! Дорогу королю!

Ученые магистры в квадратных шапках черных несут подмышкой книги законов и наук; и важные министры во всех вперяют взоры, чтобы все, что только нужно, все исполнялось вдруг.

Тра ра бум! Тра ра бум! Дорогу. дорогу королю!

Идут пажы в беретах, с мечтательной улыбкой, и шлейфы дам прекрасных плывут за ними вслед... И рыцари толпою в доспехах, перьях, шлемах; они готовы к бою, их верность, как обет!

Тра ра бум! Тра ра бум! Дорогу, дорогу королю!

И сам король, как солнце, в короне из алмазов, и все на нем сияет, как звездные лучи: и кудри, и улыбка, (а в двадцать лет — и сердце...) и мантия, конечно, из золотой парчи...

Тра ра бум! Дорогу — дорогу королю!

Взвиваются фанфары, гремят победно трубы, и золото, алмазы сверкают там и тут; а вслед идет за всеми, одетый в черный бархат с пером павлиньим, старый, прихрамывая, шут.

Тра-ра бум! Тра-ра — тра-ра — дорогу королю!



Ах, король был так же красив, как и сын богатого купца! Лоскутница никогда еще не видела его так близко. Она даже вышла на дорогу из-за куста, у которого стояла, и конь под королем испугался и шарахнулся в сторону. Золотая мантия скользнула по веткам шиповника, зацепилась за острые шипы — и, когда всадник дал шпоры коню, на кусте остался оторвавшийся кусочек золотой парчи.

Но король не заметил этого, конечно. Только шут, славившийся своими отрывыми глазами, посмотрел на лоскуток, потом на девушку, улыбнулся и кивнул головой.

Блестящее шествие скрылось за поворотом дороги, и пыль улеглась снова. На громадном кусте шиповника, покрытом порозовевшими осенью листьями и огненными каплями ягод, сверкал и переливался невиданный еще лоскуток.

Когда она сняла его, ее руки были в крови от шипов. Но она улыбалась так счастливо, как никогда в жизни. Кусочек королевской мантии! Никогда, даже в самых дерзких своих мечтах она не могла и подумать, что сможет получить такую драгоценность! Ей даже близко не удавалось подойти ко дворцу, — слуги гнали от ворот всех, и было бы на самом деле неприлично, если бы тряпичницы ходили со своим мешком под королевскими окнами!

Дома она, затаив дыхание, наклонилась над ним. Какой удивительный узор! Как блестят золотые нити!

Она не могла дождаться сына купца, чтобы показать ему. Но он не пришел ни в этот вечер, ни в другой. Только зимой он встретил ее на улице.

— Знаешь, — сказал он, неловко смотря в сторону, — отец запретил мне встречаться с тобой пока. Он говорит, что ты для меня неподходящее знакомство.

— Что ж, — попыталась она улыбнуться, хотя ей было и очень больно, — может быть потом он все таки увидит, что я не научу тебя ничему плохому!

— Мой отец сказал, что я только тогда смогу придти к тебе, если тебе поклонится сам король! — ответил он и отвернулся совсем.

Она пошла дальше, опустив голову, и с каждым шагом эти слова, как иголки, врезались ей в сердце. «Когда ей поклонится сам король!»! Какое это страшное слово: ни-ког-да...



Над городом, дворцом и бедным домиком шли годы. В страну приходили зима и лето, весна и осень, расцветали цветы и облетали листья, это всегда было красиво, мудро и хорошо. И всегда были дети и взрослые, которым хотелось тепла и сказки.

Лоскутница каждый год шила одеяла, коврики и куклы, и бедняк охотно покупал их, а богатые продолжали давать ей тряпки. Тех сказок, которые она рассказывала за работой сама себе, не слышал никто, но ей говорили иногда разные вещи. Случалось, что и о короле тоже: войско его погибло в чужой стране, злой сосед отнял у него, по кусочкам, половину королевства. Король заложил свою корону у сына богатого купца, который стал еще богаче, чем был его отец, и распустил всех слуг, а министры ушли сами, потому что ему было нечем платить. Одинок, говорили люди, жил теперь в опустевшем дворце старый король, вместе с шутком — единственным человеком, не покинувшим его.

Лоскутница очень огорчалась, слушая эти рассказы, и каждый раз, возвращаясь домой, брала в руки стеклянный ларчик. Там лежал лоскуточек королевской мантии, которую он носил, когда был молод и счастлив. Сколько радости было в этом блеске!

Однажды вечером, ветер свистел, как серебряные трубы, и все кругом было в серебре: деревья, кусты шиповника, и звезды на небе. Лоскутница стояла на пороге, кутаясь в платок: она стала мерзнуть теперь зимой, бедная старушка.



Пустынная дорога... Но вот за поворотом шаги скрипят по снегу, два спутника идут: один идет высокий, в плаще как будто рваном, и вслед за ним устало хромает старый шут.

Тра-ра- тра-ра . . . тра-ра-ра-ра. Дорогу королю!  
Но нету скороходов, нет больше дам прекрасных, ни рыцарей,  
ни стражи, исчезли трубачи . . .

Лишь ветер на дороге, алмазы звезд — на небе, и снег сверкает синий, как будто из парчи . . .

Тра-ра . . . ах нет, не слышно: «Дорогу королю»!



— Может быть, мы зайдем погреться в этот дом? — спросил шут. Король уже привык к холоду. Но ему стало жаль верного слугу.

В домике было тепло и уютно, на столе горела высокая свеча, а рядом с ней стоял стеклянный ларчик, и блестел золотом. Бедная Лоскутница упала на колени, не сводя глаз с гостя. Она сразу узнала его. Да, несмотря на то, что он был теперь и стар, и сед, и его плащ нуждался в починке.

— Только самые бедные из моих подданных — сказал он, садясь, — напоминают мне еще, что я — король. Мне начинает иногда казаться, что я им и не был никогда. Чего стоит король, потерявший свое королевство?

— О, нет, — покачал головой шут.

— О, нет! — воскликнула с жаром Лоскутница. Как могла она осмелиться говорить в присутствии короля? Раньше ей и мысли такой не могло придти в голову! Но теперь она вдруг рассказала ему все: о кусте шиповника, за который зацепилась мантия в такой далекий-далекий осенний день; и как сын богатого купца не мог любить ее до тех пор, пока ей не поклонится король; и как она хранила кусочек золотой парчи, и смотрела на него, и блески скрашивали ее работу — для нее и других.

Она говорила долго и горячо, и шут чуть усмехался, качая в такт головой, а король внимательно слушал.

— Разве тебе не было завидно, что ты сама не можешь надеть такого золотого платья? — спросил он.

— Ах нет. Золото должны носить только короли.

— Разве ты не была несчастной из-за того, что я не поклонился тебе?

— Если бы сын купца любил меня по настоящему, он не стал бы ждать, а поклонился мне сам.

— Но неужели ты была довольна своей жизнью, и тебе не хотелось иметь больше?

— Да, но я думала, что твоя мантия тоже делалась по кусочкам. А у шиповника иногда бывают листья совсем не хуже парчи. Разве не все равно, сколько имеет человек: много или мало? Важно ведь только, чтобы он радовался — даже самому малому.

Король встал, церемонно поклонился ей, и сказал:

— Спасибо, Лоскутница. Ты подарила сегодня мне очень много. Может быть, целое королевство. Благодарю тебя!



Но нет таких алмазов, как звезды в синем небе, и нет парчи чудесней, чем снежная земля! И выстроились строем деревья у дороги, воздевши к небу сучья во славу короля!

Тра-ра! Тра-ра! Дорогу! Дорогу королю!

За все, что нам дается, что мы даем — другому, за лоскуточки счастья, за радость и за боль — да будем благодарны своей судьбе и Богу — благословенно Небо. да здравствует король!

Тра-ра! Тра-ра! Дорогу! Дорогу, честь и славу! Дорогу королю!

## ЗВЕЗДНЫЙ ГВОЗДИК

Их было четверо на дороге: два мотоциклиста, один постарше, другой совсем молодой, но оба очень похожие друг на друга — современные рыцари. Оба в шлемах и очках, вместо забрала, оба в коже, как в латах, оба на прекрасных мотоциклетах. Третьей была женщина в пестром платье и краснощекий мальчуган, которого она везла на багажнике своего велосипеда.

Сейчас, впрочем, она не везла. У велосипеда соскочила цепь на самом повороте дороги, и она тщетно пыталась ее натянуть.

Старший мотоциклист, пронесившийся мимо, замедлил ход, оглянувшись, повернул, и подъехав ближе, затормозил. Юноша пробурчал что-то, но уже было поздно: тот остановил машину и соскочил с седла. Юноша останавливался только ради хорошеньких девушек со стройными ногами, однако, пришлось подчиниться, и он с недовольным видом принялся за починку дурацкого велосипеда, на котором женщины не умеют ездить, а туда же, берутся возить еще детей. Он даже не снял шлема и очков в знак протеста.

Старший мотоциклист сделал и то, и другое, удобно уселся на траве рядом с женщиной, погладил по голове ее мальчугана, предложил ей сигарету, закурил сам и улыбнулся.

— Красивая полянка в лесу! Мы пока отдохнем, а мальчик ваш пусть побегает по траве...

— Да, но уже поздно... солнце заходит.



— Ничего, мой друг вам быстро исправит все, он умеет, а вдвоем нам там нечего делать.

— Спасибо за помощь! Одна я бы не справилась, а мне еще три километра ехать, если бы пешком пришлось идти — просто ужас...

— Три километра пешком по такой дороге человеку со здоровыми ногами, да еще в такой хороший летний вечер — совсем не страшно...

Женщина взглянула на мотоциклиста внимательней и только сейчас заметила, что одна его нога была неестественно прямо откинута вбок. Она кивнула на нее головой:

— На войне?

— Угу — ответил он, затягиваясь дымом.

Женщина хотела еще что-то спросить, но тут вот это и произошло: из-за кустов на лесную полянку у перекрестка дороги вышел ангел.

Может быть, он и не вышел совсем, а прямо спустился с прозрачного вечеряющего неба, на котором, если присмотреться попристальнее, уже зажигались звезды? Но так как этого никто не заметил, то можно только сказать, что он вышел из-за куста цветущей бузины и подошел к сидевшим на траве людям.

Ангел был маленький, ростом с десятилетнего ребенка, и одет, как полагается: босой, в белом полотняном платье до пят, с ореолом над головкой и простыми белыми крыльшками за спиной. Особенно красивым его нельзя было назвать: у него было тихое, грустное личико, и в глазах стоял недоуменный вопрос.

Сказать, что сидевшие четверо людей удивились при его появлении — было бы слишком мало. Прежде всего они, конечно, не поверили своим глазам, и поэтому посмотрели друг на друга, потом на ангела, потом снова обменялись взглядами. Молодой человек, кончавший как раз возиться с велосипедом, даже снял с головы шлем и вытер лоб.

— Это что еще за маскарад? — спросила женщина, убедившись окончательно, что на полянке действительно появилось пятое существо. — Карнавала летом не бывает!

— Мама, посмотри, какой ангел, так ты мне тоже шила крыльшки на елку в школе! — закричал мальчуган.

— Ах, так... решила женщина, успокоившись было, но вдруг заметила, что босые ножки ангела совсем не касались травы,

которая не гнулась под ними, а только скользили поверх ее в воздухе. Она так и осталась сидеть с открытым ртом, хотя обычно у нее бывали манеры получше.

— И как будто я непил сегодня ничего, кроме коки-колы, — проворчал молодой человек.

Ангел посмотрел по очереди на каждого из них, видимо не зная, с кого начать, и обратился к тому человеку, который не сказал еще ни слова, а только удивленно, но ласково смотрел на него и молчал: — к старшему мотоциклисту.

— Скажите пожалуйста, — робко сказал он, — не видали ли вы где нибудь здесь на дороге гвоздика?

— Гво-зди-ка! медленно повторил тот, стараясь не показать своего полного недоумения.

Эта вежливость с его стороны сразу расположила к нему ангела, и он уселся рядом с ним, подобрав босые ножки под платице. Платице лежало поверх травы, ибо ангел был слишком легок, чтобы усесться прямо на землю, и колыхалось над ней тихонько, как будто его слегка раздувал ветер.

— Гвоздик, — печально повторил ангел. — Вот такой... он показал длину, расставив два пальца. — Из моей звездочки. Мы должны прибывать их каждый вечер на небо. Каждый свою. Моя запыхалась вчера немного. Я стал ее чистить, потому что на небе не должно быть пыли, вы понимаете? Я очень старался ее вычистить!

Он взмахнул обеими руками, и у него задрожал голос и дрогнули крылышки.

— И вот, когда я натирал ее кусочком зари, и она уже совсем заблестела...

Его голос упал до шопота.

— Один из гвоздиков выпал и свалился на землю. Это очень плохо. Может отогнуться лучик. И вообще... он остановился, подыскивая слова на непривычном языке. — И вообще... мне сказали, что если нет одного, то может выпасть второй, и еще, и тогда звездочка упадет совсем. Я попросил другого... ангела поддержать ее пока, а сам отправился искать. Может быть, вы могли бы помочь мне... если видели где нибудь.

Он сконфуженно замолчал.

— Вот это — история! — усмехнулся молодой человек. —

— Ты хорошо выучил свою роль, — кивнула головой женщина. — Сколько тебе лет? В каком ты классе? Где ты живешь? А школа далеко отсюда?

Она упорно цеплялась за представление о школьном спектакле, хоть ясно видела, что он сидит, поджавши ножки, на воздухе, как на мягкой подушке. Ее сын подтолкнул ее.

— Мама, — зашептал он, — дай ему денег. Пусть он купит себе в лавке новый гвоздик.

Мама сердито отмахнулась.

— Разве ты не видишь, что все это... только так? Гвоздик ему дадут в школе.

Мальчуган рассмеялся.

— Я знаю! — торжественно воскликнул он. — В нашей школе учительница сказала: звезды большие, больше, чем наша земля, и горят! Они больше даже солнца в нашей... он остановился и выговорил отдельно и старательно: — в нашей солнечно-системе.

— Ну, вот видишь, молодой человек, — повернулся к ангелу юноша, закуривая сигарету, — устами младенцев глаголет истина. Теперь даже такие сопливые карапузы знают, что звезды — газообразные раскаленные тела в миллионы раз больше нашей земли, и свет их доходит до нас только через миллиарды земных лет, и так далее, а ты говоришь — гвоздик. Очень хорошо, конечно, что ты умеешь рассказывать сказки, но астрономию надо знать тоже. Подожди, выучись. Ты в каком классе?

— У нас нет классов на небе, — прошептал растерявшийся ангел. — Нас учат просто так...

— Вот и видать, что плохо! На сказках еще сидите! Теперь другие сказки нужны: ракета на луну, например, или снаряд на Марс, или просто спутник в межпланетном пространстве, или про бой реактивных самолетов хотя бы...

— Но я ничего этого не видал на небе, — твердо возразил ангел. — У нас тихо. Звездочки очень хорошо светят, если почистить, как следует, и они крепко держатся, если есть все гвоздики...

— А что, вы не знаете, — шопотом спросила женщина, наклоняясь к старшему мотоциклисту, — нет ли здесь поблизости нервной клиники для детей? Может быть его надо было бы до-

ставить туда или домой? Ты где живешь, мальчик? — спросила она уже громче, наигранно-ласковым голосом.

— Там, — указал он вверх.

— А как же ты вернешься туда? — спросила она, усмехаясь.

— Вот так, — ответил ангел, и затрепетал крыльшками. Он поднялся, как бабочка, стрелой взвился до вершины старой березы, росшей у дороги, — и медленно спустился вниз, где снова уселся на прежнее место, поджав ножки. По его лицу можно было судить, что он несколько обиделся за навязчивость тона.

— Вот что, — сказал молодой человек решительно, — я еще не хочу сходить с ума из-за всякой чепухи. Если нас на перекрестках дорог будут останавливать всякие ангелы, то для чего же нужно было долбить астрономию и физику, и радиотехнику, и теорию Эйнштейна, и...

— Даже Эйнштейн верил в Бога, во всяком случае, признавал высший разум — сказал старший мотоциклист.

Но юноша не сдавался.

— Знаю, знаю. И ты хочешь уверить меня в том, что Планк, скажем, тоже признавался, что чем дальше, тем больше убеждался в необозримости и божественном величии мироздания, но кванты для своей теории он разглядел, а таких вот... он кивнул на ангела, хотел сказать «недорослей», но поперхнулся, и закончил: — таких вот... существ не заметил!?

— Позвольте, — вмешалась женщина. — Я получила, — не скрою — марксистское воспитание. Правда, мои родители были ликвидированы в свое время в Советском Союзе, но... во всяком случае, допускаю теперь, что религия имеет некоторое воспитательное значение для масс, находящихся на низком уровне. Мой сын, вот этот самый мальчуган, попросил меня однажды свести его в церковь, потому что он слышал от других детей, что там зажигают свечи, и это очень интересно. Какнибудь я его и поведу, может быть, хотя сама не люблю подобных спектаклей. Но допустим, что даже взрослый человек может в глубине своей души, для собственного успокоения, верить в высшее существо. Это свойственно человеческой природе, и в сущности политическая диктатура тоже основана на подобном идолопоклонстве. Однако, вряд ли можно серьезно задумываться над существованием... ангелов, прибывающих звездочки гвоздиками к небу! Сказки

хороши может быть для детей в младенческом возрасте, но именно для них, а жизнь ведь существует помимо того!

— Совершенно верно, — сказал вдруг ангел. Я вас очень внимательно слушал и прекрасно понял. Я не смею рассуждать с вами о Боге, потому что на человеческом языке... простите, это было бы неудобно. У вас нет настоящих слов... но вы очень правильно сказали о жизни. У вас есть своя. И у нас тоже. Мне очень жаль, но...

— А чего ж ты тогда спустился на землю? — спросил молодой человек.

— Я говорил уже. Я потерял гвоздик. Мне очень трудно было отправиться искать его. Вы совсем не знаете, как тяжело на земле...

— Что ж тебе здесь не нравится?

— О, мне очень нравится земля! Она могла бы быть такой же красивой, как небо! Только — у вас очень тяжелый воздух. В нем дым и... мертвые вещи. Вот здесь в лесу, еще можно дышать, дальше — это страшная отравка, хоть вы ее и не замечаете. Потом шум: вы громко говорите, и у вас все время, гремят звонки, ящики, машины, как молоточки бьют по ушам, по голове, вы становитесь усталыми, и глохнете... А самое страшное — это мысли. Если бы вы могли видеть, как эти мысли черным облаком окутывают людей, и скрывают от них весь Божий мир! О, это ужасно! Мне так жаль вас!

Ангел закрыл лицо руками и опустил крыльшки.

— Я... не всегда ездил на мотоцикле, — начал молчавший до того старший мотоциклист. Это только теперь... из-за ног. Чтобы выбраться из города. А раньше... конечно, мы ходили каждое воскресенье с матерью в церковь. Километра четыре от нашего дома, лесом и через поля. Колокол звонит — слышно издали. У нас были лошади, все, как полагается, но мать часто говорила: пойдем пешком, тогда больше увидим! И правда: четыре километра только, час ходьбы, и вот тоже, что здесь вокруг: поля, леса... А сколько я во всем этом научился видеть! Белку, птицу всякую, травы, цветы... мать показывала. А потом я сам вырос, сам рассказывал другим, и видел... много видел. И вот это — научило меня думать. Я не такой уж ученый, как мой молодой друг. Знаешь немного, конечно, всякие политические, научные там новости. Но думаю я по настоящему только, когда

приеду в лес — и остановлюсь. Говорят — прогресс, техника, комфорт, гигиена. Не знаю. У нас в ручье просто брали воду и пили. Чистая, как слеза. А теперь я только кипяченую, с чаем, пью, иначе хоть выплони — химический раствор вонючий какой-то. Я помню — бабушка моя еще говорила: «будет у вас нищета в шелку ходить». Я тогда не понимал. Теперь понял. Раньше шелковое платье только богатые носили, правда. Теперь может надеть каждый. Только стал ли он лучше, счастливее от этого? Ну хорошо, вот я сяду сейчас за руль, у меня своя машина, хоть я и бедный человек. Дам газ, выжму сто километров по этой дороге — а что я на ней увижу? И где я буду через час — если не случится катастрофы, которой каждую секунду бояться надо? Пусть хоть в другом городе, другой стране. Так ведь и там тоже все самое красивое — леса и поля, которых я и там не рассмотрю при такой скорости...

— Что же, человек не должен ни к чему стремиться? Ничего не открывать, не узнавать?

Мотоциклист поднял голову и прямо посмотрел на юношу.

— Видишь ли — ты меня тоже не поймешь сейчас, как я тогда своей бабушки не понял. Может быть, потом увидишь. Человеку свойственно стремиться к высшему — и это хорошо. Плохо то, что стремится он — в бездну. В междупланетное пространство полетят такие же люди, какими они были в пещерное время, только что выучились вилками есть, да кнопки нажимать. Но ведь это — внешнее. А внутри, в душе, — они те же. И что они увидят там? Пустоту. Страшную пустоту — как и в них самих. Вот, если бы они своей душе заглохнуть не дали, если бы смотрели глазами, а не телескопами, слушали бы ушами, а не радиоапаратами, — так наверное и думали бы иначе, и мысли не были бы такими черными, как их вот такой видит...

Он сунул руку в карман, чтобы вынуть спички, но ощутил вдруг в нем что-то теплое и удивленно вскинул брови. На его разжатой ладони лежал теплый, чуть светящийся серебряный гвоздик.

— Мой гвоздик! — воскликнул ангел, хлопая в ладоши.

Он кинулся на шею недоумевающему мотоциклисту, поцеловал его в обе щеки, взял у него с ладони гвоздик, и вежливо поклонившись всем остальным, поднялся на воздух.

— Прощайте! Спасибо!

Они молча следили, как серебристо-белая фигурка, трепеща крылышками, поднималась все выше и выше в потемневшем уже небе. Вот уж и совсем не стало ее видно. Только как будто маленькая звездочка в небе зажглась. Она померцала сперва, вспыхивая и потухая, как будто лучи ее были спутаны, потом вздрогнула раз, другой... и заблестела радостно и смело.

— Прибил, все таки... тихо произнес молодой человек.  
Мотоциклист немного отвернулся и вытер ладонью глаза.



Я ручаюсь за достоверность этой истории, происшедшей совсем недавно, ибо мне рассказывал ее молодой мотоциклист, а молодость, как известно, беспощадно строга — иногда даже к себе, не говоря уже о других. Мне хотелось сперва снабдить ее всякими комментариями, но времени слишком мало, чтобы тратить его на пустяки.

Вместо этого, лучше быть внимательней к тому, что делается вокруг. Может же случиться, что у какой нибудь звезды снова выпадет гвоздик? Мне бы очень хотелось найти его самой — и отдать тому, кто будет его искать. И вот над этим действительно стоит подумать.

## Глаза короля

Господи, из самой темной щели будет виден свет Твоей звезды... Господи, в туманы и метели все равно пойдут Твои волхвы... и когда неслышными шагами медленно приходит Рождество, елки разноцветными огнями будут славословить торжество. И в смятенных, одиноких душах вспыхнет вновь неизгладимый свет: мы должны в Сочельник сказку слушать, даже если... если сказки нет! Но в Сочельник, в синий снежный вечер, сказки будут — им нельзя не быть: ведь для них мы зажигаем свечи, и без них мы не могли бы жить. В самых горьких, в самых серых буднях множество рассыпано чудес: и они понятны станут людям, если свет в их душах не исчез. Потому что — как метель ни злится, как сердце ни застилает мгла — где то, в уголочке, сохранится крохотный обрывочек тепла. И в Сочельник, ласковый и хвойный, как бы трудно ни было нам жить — самое мы вспомним дорогое, будем мы молиться и любить: тех, кто соберется в этот вечер, — тех, кого не будет среди нас; и когда зажгутся эти свечи — вспомни, Боже, и помилуй нас! Дай нам сказку в этот вечер, Боже, звездный свет Свой в души зарони: нас и тех, кто нам себя дороже, Господи, спаси и сохрани!



... Буквы выцвели, и трудно читать эту рукопись на машинке, на плохой бумаге, ставшей серой из голубой. Но у многих вещей бывает своя история.



Мы задыхались тогда, в декабре 1940 года в Риге, но еще не были задушены большевиками совсем. Массовые депортации начались только в июне следующего года — тогда шли только аресты... Город шептался, придавленный страхом, и так трудно было освоиться с мыслью, что прежняя — и хорошая, и плохая, но свободная жизнь, вот без этого страха, с огнями, с улыбками — кончилась, нет ее больше и — не будет? Может кончиться сегодня ночью...

Но еще не сдавались — совсем. Правительство «отменило» Рождество, а рабочие заявили просто, что в «Зиемас светки» (зимний праздник) на работу не выйдут: «всех не арестуют». Отвоевали Рождество — ценой многих арестов после нового года...

«...тех, кто соберется в этот вечер; тех, кого не будет среди нас...»

Я писала эту сказку по традиции, для читателей уже закрытого журнала, чьи адреса случайно сохранились дома. Это было очень слабой попыткой создать рождественское настроение: копии на машинке, с нарисованной чернилами свечкой в заголовке, разосланные кому то наугад: может быть, их уже нет? Может быть, им это и ненужно? А может быть, — просто не успею, и сегодня ночью придут за мной?

...Несколько лет спустя, в одном из лагерей дипи в Германии нашла одну такую копию: вывез кто-то. У меня не сохранилось ни одной, и мне отдали ее.

Вот поэтому и переписываю рукопись — история которой еще не закончена:



В этом странном королевстве жили рыцари и маги, шут, принцесса, принц прекрасный и премудрый Звездочет; в этом странном королевстве из картона и бумаги все рядились в шелк и бархат каждый вечер, всякий год. В этом бедном королевстве солнца вовсе не видали: иногда светили звезды (сквозь чердачное окно), но зато в нем каждый вечер сотни сказок оживали, и рассказывалось людям про минувшее давно. Звездочет читал по звездам; смело рыцари сражались, и, сидя верхом на троне, заливался смехом шут; а прекрасный принц с принцессой тосковали и влюблялись, со слезами и улыбкой — как и в жизни, так и тут.

В королевстве было много позолоты, стройных башен из картона и бумаги, теплых ватных облаков; и, конечно, не найти бы ни чудеснее, ни краше восковой его принцессы и изысканных шелков!

Королевством этим правил маг один с улыбкой мудрой: из всех живущих только он один лишь вправду знал, как нужны нам в жизни сказки, и как в сердце бьется чудо, когда вдруг затихнет, сказкой очарован, темный зал.

Так из года в год случалось каждый день — нет: каждый вечер когда в темном пыльном зале разом тухли все огни...

А когда на люстрах снова зажигались ярко свечи, то за сценой, в пыльном хламе, оставались все одни. В королевстве этом бедном разом рушились все башни, в ящик падал шут усталый, зацепившийся за край; забывал о клятве рыцарь, и в тоске своей всегдашней зябко куталась принцесса в побледневший горностаи. А в окне светились звезды и мерцали дальним светом в полумраке королевства с его скованной мечтой. И читал по синим звездам Звездочет при свете этом, на веревочке качаясь, и качая головой...

Только раз в году, в Сочельник — белый снег и синий вечер... только раз в году, в Сочельник, когда тает в сердце снег — в королевстве бедных кукол зажигались ярко свечи, хотя их тогда не видел ни единый человек...

\*\*\*

В Сочельник прошлого года в ящике лежало праздничное письмо — в сиреновом конверте: большое, теплое письмо, написанное старательными, хотя и неуклюжими стихами — благодарность за сказки. Изредка я получала такие письма, и каждый раз это было большая радость: вот, взяла кусочек сердца и послала его на ветер, и это найдено, принято, и за него благодарят улыбкой. Значит, не напрасно и я улыбалась в даль, в снег, в туман.

В доме уже убиралась елка, пахло пряниками, цветами, всюду лежали пакеты: письмо я тоже положила под елку — это мне подарок. А может быть незнакомый автор решится еще на один шаг и придет сегодня вечером на «королевский пирог», будет тем случайным, незванным и радостным гостем, которого я всегда жду? Бывало же так иногда... но на этот раз гостя не было. Жаль.

На святках ко мне зашел один хулиганистый, но в сущности не такой уж плохой мальчишка.

— Мама у вас? —

Нет, ее не было, но я могла себе представить, что она теперь делать: в маленькой подвальной квартирке убраны стелки и припасы, ножницы и картон. Швейная машина стоит в углу, прикрытая поредевшей вышивкой. На столе — много бутылок, а за столом — разные люди, как сваленные в ящик фигурки. Пьют, читают надрывными голосами стихи, поют и играют на гитаре.

Я знала, что маленький хулиган будет неодобрительно поглядывать на мать — маленькую худенькую женщину с льняными, как у куколки, волосами. Она будет трогательно нарядна в не раз перешитом шелковом плетнице, и тоже будет петь, читать стихи, а потом целоваться или плакать. Мне было и жаль ее и немного противно.



Насмешливый и умный английский философ Чарльз Деф гозорит, что совершенно неважно, во что верит человек: в правду, фикцию или ложь, лишь бы верил, что это действительно правда. Впрочем, и до него об этом говорили многие... Я не могу просить верить всему тому, что я говорю, но мне хочется сказать только, что я видела много сказок, и то, — что рассказываю, — только малая доля из них.



В эти холодные и ясные дни Рождества прошлого года, когда на площадях горели еще рождественские елки, я поехала в тихий провинциальный городок. Подрагивающий вагон, оранжевые огоньки на снегу, маленькие домики в сугробных полях — и снова вокзал, снова елка, извозчики с косматыми лошаденками в сосульках на хвостах и гривах — и пятьдесят сантимов в любой конец города — раздолье, да еще с колокольчиками!

Хорошо приехать куданибудь с подарками, с разноцветными кусочками мечты в сердце. Так хорошо, что плакать хочется, — хотелось почему то.

Вы помните, какой холодной была зима, тридцать девятого года? Уже началась война, и у нас не было угля. Замерзли все сады, замерзло море... да, тогда можно было пройти в Швецию пешком.

Удивительно тепло было в этой квартирке, — впрочем, хозяин ее сам топил школу — и все время бегал вниз, к котлам, что-

бы подбросить оставшийся уголь и мохнатые кряжи дров. Я пошла с ним тоже.

— А у меня для тебя сюрприз приготовлен, — сказал вдруг он и раскрыл сбоку незаметную дверку в длинный узкий чуланчик с проходившей по нему у стены широкой трубой. На трубе, прижавшись к стенке, свесив длинные ноги, вытянув вдоль тела руки с костяными пальцами, сидело штук двадцать кукол — большие марионетки с колечками на руках и спине, а внизу валялись спутанные обрывки веревок, блоки, еще какие то кольца и лежало громадное чудовище.

Хозяин давно уже пересмотрел топки и ушел наверх, а я все еще сидела в чуланчике, осторожно прикрыв дверь, и смотрела на кукол. Чудовище было сделано из старого корсета, вымазанного коричневой краской. У него были паучьи лапы, а глаза из жестяных круглых коробок.

Парень — простак в длинных узких туфлях с загнутыми носками; принцесса в вишневом шелковом платье и коронкой на голове, один край которой оторвался и спускался сзади на косу; рыцарь в загнутом шлеме из серого картона; старик с седой бородой, в колпаке и мантии, усыпанной звездами; восточный король в зеленых штанах и тюрбане и король просто, усеянный золотыми бусами и блестками и с удивительными глазами. Они не смотрели безжизненно, как у остальных, а блестили, переливались, вспыхивали золотистыми искорками. Да, тут были все мои короли и принцессы, рыцари и звездочеты. Я написала про них много сказок.

«В этот мой благословенный вечер собрались ко мне мои друзья: все, которых я очеловечил — вызвав в жизнь из небытия...

Я сказала это совсем тихонько, но чей то голос повторил слова эхом. Откуда эхо в низком чуланчике под лестницей?

— Это не мои стихи, а Гумилева, — извинилась я.

— Мы знаем стихи Гумилева, — ответил голос.

— Значит, вы знаете больше остальных, — я расхрабрилась, хотя немного странно разговаривать с невидимкой.

— А помните, как дальше? — сказала вдруг принцесса: — «...заливались вышитые птицы, а дракон плясал уже без сил. Даже Будда начал шевелиться, и понюхать розу попросил...» у вас нет роз?

Чтобы я отдала сейчас, чтоб поднести ей розы! И ничего с собой нет, ничего... А мой сын еще говорит, что я умею волшебить! Но...

На полу у моих ног что то блестело. Я быстро подняла: маленький, тяжелый комочек. Он холодно лег в ладонь, и я не успела его сразу спрятать.

— Это не роза — грустно покачала головой принцесса. — Это пуля, выпущенная из револьвера. Она сплюсцилась. Возьмите ее на память. Может быть — она сохранит от другой.

— И даже наверно — важно сказал Звездочет, и осторожно спустившись с трубы, подошел ко мне. Остальные марионетки зашевелились тоже. Они уселись вокруг меня, странно позванивая колечками. Глаза из бусинок и медных гвоздиков, вышитые и нарисованные, смотрели на меня печально и в упор.

— Вы сказали однажды, что «в Сочельник правят сказки самый праздничный свой бал», — продолжал Звездочет. У каждого человека есть право на этот вечер, но принадлежит ему одному. И вот мы, как ваши персонажи, вылезаем из ящичков, спускаемся с подмостков, и пытаемся жить.

— И должна вам сказать, что из этого ничего не выходит. — Принцесса заплела кончик косы и отбросила ее за спину. — Среди настоящих людей я остаюсь той же марионеточной шелковой принцессой с красивыми, но слабыми руками, в которых ничего не могу удержать.

— А я — картонным рыцарем на ватных ногах. Я не могу совершить даже самого маленького подвига.

— А я — королем, у которого нет королевства.

— А я — звездочетом, ничего не видящим в жизни. Я умею читать по звездам и старым книгам, но не умею поджарить картошки и вечно попадаю в лужи.

— А я не умею смеяться с людьми. Им скучно, а мне хочется плакать.

— А я... а я...

Они жаловались все, с укоризной смотря на меня, и были правы. Сказки — как елочные игрушки: очень красивы, и блестят, но бесполезны. Правда, они приносят много радости, но — разве этого достаточно для жизни?

— «Все мы — плохие актеры в театре Господа Бога». Это тоже сказал ваш Гумилев. И люди почему то воображают себя марионетками, и думают, что их кто то дергает за веревочки, а они сами ничего не могут сделать. Пожалуй, и нам следовало

бы примириться со своей участью. Но, видите ли, мы этого не хотим. В одной из ваших сказок был бунт снежинок. А в нашем королевстве тоже бунт — картонных кукол. Но вы не боитесь нас, конечно. Мы знаем все ваши сказки. Некоторые даже ставились у нас на сцене. О, для этого они прекрасно подходят...

Они говорили все разом, наперебой, этот ужасный круг грустных фигурок, как обезьянки, умирающие от чахотки. Мне было стыдно и больно. Я чувствовала себя глубоко виноватой, и надо было оправдаться.

— Простите. Но ведь эти сказки давали другим улыбку. Разве это совсем ничего не значит?

— Этого мало. Покажите людям, что сказки везде. Покажите им, как прекрасна жизнь, не смотря ни на что, и безо всяких розовых очков. Конечно, мы умеем волшебить, и сделали такие глаза — нашему королю, чтобы...

— Я отдал ему всю свою силу — сказал твердо рыцарь. — Теперь я навсегда останусь ватным.

— А я отдал мудрость, и больше ничего не прочту по звездам.

— А я отдала свое сердце.

Это, конечно, сказала принцесса, и по тому, как она взглянула на короля, я поняла, что это действительно так.

— Ваш король должен быть очень счастлив — начала я немного неуверенно.

— О нет. Этого мало. Он тоже марионетка. Только глаза живые — видите? У нас у всех бусинки, даже у принцессы хотя ей полагались бы звезды — а у него — из настоящего камня, с золотыми искорками. Их много, и они не могут исчезнуть. Это сердолик.

— Что же я могу сделать для вашего короля?

Я с грустью подумала, что если бы он пришел ко мне в Соцельник, и получил кусок королевского пирога, то, может быть...

— Возьмите его глаза — сказали куклы хором. — Мы умрем сегодня. Не надо плакать. Мы знаем, что вы хотели бы сделать. Вы хотите взять нас всех, и рассадить у себя на диване. Но нас много, мы большие и неудобные. В вашей комнате будет пыль и беспорядок, ваш сын будет приставать, чтобы вы нас починили и устроили ему театр. А потом мы будем валяться где нибудь в сарае. Это жизнь, и ничего не поделаешь. Но мы не хотим быть больше марионетками. Только глаза короля — не должны исчезнуть. Возьмите их.

— Я знаю, что тебе больно, но так и надо! — угрожающе захрипело вдруг чудовище, поднимаясь на лапах. Я больше всего боюсь пауков — а оно ползло на меня, шевеля раскоряками и смотрело выпученными жестянными глазищами. В них шевелилось много скверных мыслей — и я узнала много своих.

— Ну?!

Я только успела поднести руку к лицу короля — как они скатились, и лежали уже на ладони — два золотисто-коричневых камня.

— Спасибо — прошептали куклы, и этот шопот смешался с пылью, осевшей на их лица. Они съежились, втянули плечи, уронили руки.

— Уходите, — прошептал рыцарь. — Скажите людям, что надо сражаться не с ветряными мельницами, а с буднями.

— Скажите им, что звезды прекрасны. Если смотреть на них, то становишься совсем маленьким, и забываешь о многом ненужном.

— Скажите, что каждый должен создавать себе королевство. Стройные башни строятся из крохотных кирпичиков, а с них видно далеко — сказал ослепленный король.

— Скажите им, что если очень тяжело, то надо комунибудь улыбнуться, и от этого станет легче — и самому, и другим.

— Скажите им, чтобы они любили — прошептала принцесса. — И уходите, теперь, уходите. «Поверь, что конец всегда однозвучен, никому не понятен, и торжественно прост...»

Щелкнул выключатель, и в чуланчике стало темно. Слышался только легкий шорох. В темноте, уже невидимые, эти старые облезлые куклы с ватными руками и стойким сердцем готовились умирать — совсем просто, и с такой же верой, с какой они играли на своей сказочной сцене. Шопот тихо прослаивался в темноте, будто слегка колебался, кружась в воздухе — легко, чуть слышно, и все тише — пока не замолк совсем.



— Мама под лестницей в чулане лежат куклы большие настоящие марионетки с веревочками и блоки тоже есть мы их возьмем себе они из старого театра и никому не нужны а ты мне поможешь и дашь простыни и зашьешь где вываливаются и я запишаю их в мешок и сдадим в багаж потому что в вагон не пустят.

Мой сын сказал это единым духом, опасаясь возражений и так же непоследовательно — как говорят иногда и взрослые. Это было на следующий день, в морозное, яркое утро, когда мы все поздравляли друг друга с новым годом, и загадывали, что мы хотим, чтобы с нами было — помните, сколько у нас было тогда желаний?

— Я так и думал, что захочешь устроить из маминого дома сарай — пробасил хозяин. — Но, если хочешь, то бери, только с одним условием: самому тащить на вокзал.

Он нагнулся ко мне и прошептал:

— Не бойся, я тебя спас. Бросил их вчера в топку.

Он знал лень моего сына. Но я вспомнила тихий шопот в чулане. Они действительно умерли.

\*\*\*

Когда я вернулась домой и перечла письмо в сиреновом конверте — мне хотелось немного оправдаться в собственных глазах, — то заметила в нем знакомую ошибку. Эту ошибку я видела однажды — ее сделала худенькая женщина с льяными волосами, ломавшая себе руки над стельками и певшая за столом с грязной посудой.

Мне сказали потом, что она умерла под новый год, в больнице. А молодой хулиган пришел с ввалившимися глазами, и смущенно улыбнулся, заметив на моем столе письмо,

— Вы знаете, от кого оно прислано?

Да, теперь я знала.

\*\*\*

В этом пыльном королевстве жили рыцари и маги, этим странным королевством правил очень мудрый маг: и ему известно было, что не только на бумаге, но и в жизни нашей сказки озаряют пыль и мрак. И ему известно было, что из самой темной бездны человек восходит к звездам, презирая страх и боль; что мечтанья и молитвы поднимают к далям звездным, и что станет человеком даже кукольный король. Так он правил королевством в тишине, с улыбкой мудрой: но ему известно было и начало, и конец. Если встанут против хлама, против пыли даже куклы, — что же будет, если сказка станет явью всех сердец?!

В этом странном королевстве жили рыцари и маги, и на самой старой башне очень мудрый Звездочет: он скрипел пером гусиным по пергаментной бумаге, и записывал, что было и что



будет каждый год. В королевстве этих сказок никогда не гасло солнце, никогда не меркли звезды, никогда не лилась кровь: там жила в высокой башне золотая чудо-птица, птица, с крыльями, как пламя, а по имени — Любовь.



Перед самым концом — совсем краткое! — еще послесловие, чтобы кончить историю: когда я писала эту сказку, и посылала ее, в моей сумочке лежала завернутая в бумажку сплюснутая пулька: авось, отведет другую. А два узких сердоликовых кабошона, продетые в золотую цепочку, я носила на руке, как браслет, на счастье. Глаза короля.

Я их отдала потом — человеку, спасшему меня от НКВД — не как плату: он знал их историю. Может быть, они тоже принесли ему счастье — не знаю.

Мне — принесли. Я научилась видеть многое.



Рождество — это тихий вечер, тихий праздник в сердцах людей. Зажигайте на елке свечи, пусть побольше будет огней! Пусть засветит во мгле туманной золотой огневой маяк: в жизни нашей многое странно, только сердце — великий маг. Только сердцем мы все измерим, и поймем, что всего нужней: только сердцем мы можем верить, только сердцем — любить людей.

Когда ночь, как замерзшая птица, на глубоком снегу лежит; когда в окна nord-ost стучится, — пусть на елке свеча горит. И для тех, кто уйдя, расстался — чтобы путь стал для них видней; и для тех, кто вокруг собрался, — чтобы дом стал для них теплей; и для тех, кому в ярком свете, в свежей хвое — волна чудес; и для тех, кто уже не дети, и давно не верит в принцесс.

Всем нам, Боже, усталым людям, дай свечу от Твоих огней: этот вечер сказочным будет, чтобы сказки стали слышней; чтоб повсюду в сердцах тревожных рассыпали они огни...

Дай нам в сказку поверить, Боже, и помилуй, и сохрани!

